

ГАБРИЭЛЬ ГАРСИА МАРКЕС

*Полковнику
никто не пишет*



Мы уже слишком взрослые,
чтобы ожидать прихода Мессии...

СТИЛЬ
НОВЫЙ

**ГАБРИЭЛЬ ГАРСИА
МАРКЕС**

*Полковнику
никто не пишет*



Санкт-Петербург
КРИСТАЛЛ
2002

Серия основана в 2001 году

Составитель
Ростислав Грищенко

Перевод с испанского
Аллы Борисовой

Художественное оформление серии
Ивана Мосина

*В оформлении обложки использована
работа Стива Коула*

Маркес Г. Г.

Г 20 Полковнику никто не пишет: сборник/
перевод с испанского А. К. Борисовой —
С.-Пб.: ООО «Издательский Дом „Кристалл“»,
2002.— 160 с. Серия «Новый стиль».

«Полковнику никто не пишет» —
сборник, в который вошли одноименная повесть и
избранные рассказы 1947—1972 гг., созданные вы-
дающимся прозаиком современности, знаменитым
колумбийским писателем Габриэлем Гарсией Мар-
кесом (род. 1928).

Все произведения, вошедшие в настоящее изда-
ние, представлены в переводе Аллы Константинов-
ны Борисовой.

Книга рассчитана на массовую аудиторию.

© Р. В. Грищенко, состав, 2002

© А. К. Борисова, перевод,
1997, 2000

ISBN 5-306-00253-6

© ООО «Издательский Дом
„Кристалл“», 2002

ПОЛКОВНИКУ НИКТО НЕ ПИШЕТ

Полковник открыл банку с кофе и убедился: на дне осталось не больше чайной ложечки. Он снял с плиты миску, выплеснул половину воды на земляной пол и стал скрести банку ножом прямо над миской, вытряхивая туда остатки кофе, смешанные со ржавчиной.

Пока варилось питье, он сидел возле очага из обожженного кирпича, замерев в доверчивом и простодушном ожидании, и чувствовал, что в кишках у него прорастают грибы и ядовитые растения. Стоял октябрь. Еще одно утро, которое нелегко превозмочь даже такому человеку, как он, пережившему множество подобных дней. Вот уже пятьдесят шесть лет — с тех пор, как закончилась последняя гражданская война, — полковник только и делал, что ждал.

Октябрь — это было то немногое, чего он дождался.

Его жена увидела, как он входит в спальню с кофе, и отодвинула москитный полог. Ночью у нее был приступ астмы, и сейчас ее одолевала сонливость. Но она приподнялась, чтобы взять у него чашку.

— А ты? — спросила она.

— Я уже пил, — ответил полковник. — Там еще оставалось на целую столовую ложку.

В этот момент раздался погребальный звон колоколов. Полковник совсем забыл о похоронах. Пока жена пила кофе, он снял с гвоздя, вбитого в стену, один конец гамака, скатал его и повесил за дверь, где был укреплен другой конец. Жена думала о покойном.

— Он родился в двадцать втором, — сказала она. — Как раз через месяц после нашего сына. Седьмого апреля.

Она пила кофе медленно, маленькими глотками — ей мешало прерывистое дыхание.

Болезнь согнула эту женщину в дугу, а кости ее стали тонкими и прозрачными. Из-за прерывистого дыхания у нее всегда была одна и та же интонация, и потому вопрос звучал как утверждение. Она закончила пить кофе, но продолжала думать об усопшем.

— Ужасно, должно быть, когда тебя хоронят в октябре, — сказала она. Но муж не обратил внимания на ее слова. Он открыл окно. В патио октябрь утвердился окончательно.

Глядя на увядающую, но все еще сочную зелень, на дождевых червей, ползающих по земле, полковник почувствовал, что именно в этом месяце особенно плохо приходится его больным кишкам.

— У меня даже кости отсырели, — сказал он.

— Зима есть зима, — ответила жена. — С тех пор как начались дожди, я все время говорю тебе, что на ночь надо надевать теплые носки.

— Я сплю в них уже целую неделю.

Дождь был мелкий, но шел не переставая. Полковник предпочел бы завернуться в шерстяное одеяло и устроиться в гамаке. Но надтреснутый звон бронзовых колоколов настойчиво напоминал о похоронах. «Ничего не поделаешь, октябрь», — прошептала он и отошел от окна. И только тут вспомнил о петухе, привязанном за ногу к кровати. Это был бойцовый петух.

Полковник отнес чашку в кухню, потом вернулся в комнату и завел часы с маятником, в рамке из резного дерева. В отличие от спальни, слишком тесной для больного астмой, гостиная была просторной, с четырьмя креслами-качалками вокруг покрытого скатертью стола с гипсовым котом, стоявшим посередине. На стене, напротив часов, висела картина, изображающая женщину, с ног до головы в тюле, — она сидела в лодке, окруженная амурами и розами.

Было двадцать минут восьмого, когда он закон-

чил заводить часы. Потом отнес петуха в кухню, привязал его к подставке очага, поменял воду в миске и насыпал ему горсть маиса. Несколько мальчишек пролезли через дыру в изгороди и появились в кухне. Они уселись вокруг петуха и стали молча его рассматривать.

— Хватит на него смотреть, — сказал полковник. — Петухам не на пользу, когда их так долго рассматривают.

Дети не двинулись с места. Один из них стал наигрывать на губной гармошке модную песенку.

— Сегодня играть нельзя, — сказал ему полковник. — В городе покойник.

Мальчишка убрал гармошку в карман штанов, а полковник пошел в комнату одеваться для похорон.

Белый костюм был не выглажен, поскольку у жены — приступ астмы. Так что полковник решил надеть старый костюм из черного сукна, который со времен своей свадьбы надевал только в исключительных случаях. Он не сразу нашел его на дне сундука, костюм был завернут в газеты и пересыпан нафталином от моли. Жена лежала на кровати и продолжала думать о покойном.

— Сейчас он уже, должно быть, встретился с Агустином, — сказала она. — Лишь бы он не рассказал сыну, что с нами стало после его смерти.

— Они сейчас спорят о петухах, — сказал полковник.

Он нашел в сундуке огромный старый зонт. Жена выиграла его в лотерею, устроенную в пользу партии, к которой принадлежал полковник. В тот вечер они смотрели представление на открытом воздухе и не пошли домой, даже когда начался дождь. Полковник, его жена и их сын Агустин — ему тогда было восемь лет — досмотрели представление до конца, сидя под огромным зонтом. Теперь Агустина уже не было в живых, а красивую атласную подкладку зонта съела моль.

— Посмотри, что случилось с нашим клоунским зонтиком, — произнес полковник свою обычную фразу. Он раскрыл сложную конструкцию из металлических спиц над головой. — Теперь через него хорошо звезды считать.

Он улыбнулся. Но жена даже не взглянула на зонт.

— Все теперь стало таким же, — прошептала она. — Мы гнием заживо.

Она закрыла глаза, чтобы ничто не мешало ей думать о покойном.

Побрившись наугад — зеркала давно уже не было, — полковник молча оделся. Брюки, такие тесные, что казались кальсонами, застегивались на щиколотках с помощью накладных петель, а на талии затягивались двумя хлястиками из той же материи, которые продевались через позолоченные пряжки, крепившиеся на уровне поясницы. Ремня он не носил. Рубашка цвета старого картона и твердая, как картон, застегивалась на медную пуговицу — она одновременно держала и пристегивающийся воротничок. Воротничок, однако, был порван, и полковник решил отказаться от галстука.

Он одевался так, будто выполнял священный ритуал. Костлявые руки обтягивала прозрачная тонкая кожа, покрытая коричневатыми пятнами, такие же пятна были на шее. Прежде чем надеть лакированные ботинки, он счистил налипшую грязь. Жена посмотрела на него и увидела: он одет так же, как в день свадьбы. Только тогда она поняла, как составилась ее муж.

— Ты оделся будто для какого-то события, — сказала она.

— Эти похороны и есть событие, — ответил полковник. — Впервые за много лет кто-то умер естественной смертью.

После девяти дождь перестал. Полковник уже собрался выходить, но жена удержала его за рукав.

— Причешись, — сказала она.

Он попытался пригладить роговым гребнем свою щетину стального цвета. Но все было напрасно.

— Я, наверное, похож на попугая, — сказал он.

Женщина оглядела его с ног до головы. И нашла, что это не так. Полковник не был похож на попугая. Он был худощав и подвижен, будто на шарнирах. Живость взгляда ничем не напоминала какую-нибудь там формалиновую древность.

— Все в порядке, — произнесла она и добавила,

когда муж уже выходил из комнаты: — Спроси у доктора, его случайно не ошпарили кипятком в нашем доме?

Они жили на краю городка, в домике с крышей из пальмовых листьев и стенами, покрытыми облупившейся кое-где известкой. Было сыро, но дождя не было. Полковник пошел к площади переулком, где лепились один к другому маленькие домишки. Дошел до Центральной улицы и почувствовал, что его знобит. Насколько хватало глаз, городок утопал в цветах. Женщины, одетые в черное, сидели у дверей домов и поджидали похоронную процессию.

Когда полковник оказался на площади, снова заморосило. Стоявший в дверях хозяин бильярдной, помахав рукой, крикнул ему:

— Подождите, полковник, я дам вам зонтик.

Полковник ответил, не поворачивая головы:

— Спасибо, мне хорошо и так.

Покойника еще не выносили. Мужчины в белых костюмах и черных галстуках разговаривали у дверей, раскрыв зонты. Один из них увидел полковника, перепрыгивающего через лужи.

— Идите сюда, кум, — позвал он его.

И показал на свободное место под зонтом.

— Спасибо, кум, — ответил полковник.

Но приглашения не принял. Он сразу прошел в дом, чтобы выразить соболезнование матери покойного. Первое, что он почувствовал, был запах множества разных цветов. Потом ему стало душно. Он попытался пробраться сквозь толпу, набившуюся в спальню. Кто-то положил ему руку на плечо и протолкнул в глубину комнаты мимо вереницы скорбных лиц, и он увидел глубокие и широко раскрытые ноздри покойного.

Рядом сидела мать, отгоняя мух веером из сплетенных пальмовых листьев.

Остальные женщины, все в черном, смотрели на усопшего с тем же выражением, с каким смотрят на течение реки. В глубине комнаты, в толпе, вдруг раздался плач.

Полковник оттеснил какую-то женщину, подошел к матери покойного и положил руку ей на плечо. Стиснул зубы.

— Мои глубокие соболезнования, — сказал он.

Мать не повернула головы. Она открыла рот и завывала. Полковник вздрогнул.

Он почувствовал, как бесформенная масса людей, разразившаяся надрывным плачем, толкает его на труп. Попытался упереться рукой в стену, но не смог. Он только натыкался на кого-либо из стоявших рядом. Кто-то сказал ему на ухо мягким, тихим голосом: «Осторожно, полковник». Он оглянулся и увидел покойника. Но не узнал его: при жизни тот был крепким и подвижным, а теперь, завернутый в белое и с кларнетом в руках, казался таким же растерянным, каким чувствовал себя полковник. Когда он поднял голову, пытаясь глотнуть хоть немного воздуха, то увидел, что гроб, убранный покрывалом, будто плывет по волнам из цветов и мнет их о стены. Полковник вспотел. У него болели суставы. Через несколько минут он понял, что оказался на улице, потому что веки стали мокрыми от дождя, и кто-то, сжав ему руку выше локтя, сказал:

— Скорее, кум, я вас ждал.

Это был дон Сабас, крестный его умершего сына, единственный из руководителей партии, кто избежал политических преследований и продолжал жить в городке.

— Спасибо, кум, — сказал полковник и молча зашагал под дождем.

Оркестр заиграл похоронный марш.

Полковник обратил внимание на отсутствие духового инструмента и только тут осознал, что умерший действительно умер.

— Бедняга, — прошептал он.

Дон Сабас закашлялся. Он держал зонт в левой руке, подняв ее выше головы, поскольку был ниже полковника. Когда процессия покинула площадь, мужчины стали разговаривать. Дон Сабас обратил к полковнику скорбное лицо и сказал:

— Как там петух, кум?

— Живет помаленьку, — ответил полковник.

В этот момент он услышал крик:

— Куда вы лезете со своим покойником?

Полковник поднял голову. На балконе казармы в

позе оратора стоял алькальд. Он был в кальсонах и рубашке, небритый и опухший. Музыканты перестали играть. Через секунду полковник различил голос отца Анхеля, который что-то кричал алькальду. И стал вслушиваться в разговор сквозь барабанную дробь дождя, колотившего по зонтикам.

— Что там случилось? — спросил дон Сабас.

— Ничего, — ответил полковник. — Говорит, военным нельзя проходить мимо казармы.

— А я и забыл, — воскликнул дон Сабас. — Все время забываю, что мы на осадном положении.

— Но ведь мы не поднимаем восстания, — сказал полковник. — Это просто похороны бедного музыканта.

Процессия повернула в другом направлении. Когда проходили бедную окраину, женщины, молча кусая ногти, провожали их взглядом. Потом выходили на середину улицы и кричали вслед слова похвалы, благодарности и прощания, как будто верили, что покойник их слышит. На кладбище полковнику стало плохо. Когда дон Сабас оттеснил его к стене, чтобы дать проход тем, кто нес гроб, а потом с улыбкой обернулся, то увидел, что лицо полковника будто окаменело.

— Что с вами, кум?

Полковник вздохнул:

— Октябрь, кум.

Возвращались по той же самой улице. Дождь перестал. Небо сделалось глубоким, густо-синим. Вот и дождь перестал», — подумал полковник и почувствовал себя лучше, но все еще прислушивался к своим ощущениям. Дон Сабас нарушил ход его мыслей:

— Вам бы надо сходить к врачу, кум.

— Я не болен, — ответил полковник. — Просто в октябре я чувствую себя так, будто мои кишки терзают дикие звери.

— А-а... — произнес дон Сабас. И попрощался с ним у дверей своего дома, нового двухэтажного здания с окнами, забранными решетками из ковального железа. Уже отчаявшись когда-нибудь избавиться от парадного костюма, полковник отправился домой. Но скоро он снова вышел на улицу, намерева-

ясь купить в угловой лавке банку кофе и полфунта маиса для петуха.

Полковник занялся петухом, хотя предпочел бы провести день в гамаке.

Дождя не было вот уже несколько дней. За неделю ядовитая флора у него в животе пышно разрослась. Целые ночи он проводил без сна, слушая свистящее дыхание страдающей астмой жены. Но в пятницу октябрь сделал передышку. Приятели Агустина — портные из мастерской, где он работал, фанатики петушиных боев — воспользовались случаем и пришли посмотреть на петуха. Тот был в отличной форме.

Когда они ушли, полковник вернулся в комнату жены. Их приход не оставил ее безразличной.

— Что они говорят?

— Они в полном восторге, — сообщил полковник. — Уже откладывают деньги, чтобы поставить на петуха.

— Не знаю, что они нашли в этом петухе, он такой урод, — сказала жена. — Какое-то страшилище: голова слишком маленькая для ног.

— Они говорят, он лучший во всем департаменте, — парировал полковник. — Он стоит не меньше пятидесяти песо.

Он был уверен: это самый веский аргумент, чтобы убедить жену оставить у себя петуха, принадлежавшего их сыну, которого изрешетили пулями девять месяцев назад во время петушиных боев, за распространение листовок.

— Эта твоя фантазия нам дорого обходится, — сказала жена. — Когда у нас кончится маис, нам придется кормить его собственной печенью.

Полковник о чем-то раздумывал, отыскивая в шкафу брюки из грубого полотна.

— Осталось всего несколько месяцев, — сказал он. — Уже точно известно, что бои будут в январе. После этого мы сможем продать его еще дороже.

Брюки были мятые. Жена разложила их на плите и стала гладить двумя чугунными утюгами.

— Что тебе за надобность идти на улицу? — спросила она.

— Почта.

— Я совсем забыла, что сегодня пятница, — проговорила она, возвращаясь в комнату.

Полковник был почти одет — не хватало только брюк. Она взглянула на его ботинки.

— Их пора выбросить, — сказала она. — Лучше снова надень лакированные.

Полковник пришел в отчаяние.

— У них какой-то сиротский вид, — запротестовал он. — Каждый раз, как их надеваю, мне кажется, что я сбежал из приюта.

— А мы и есть сироты после того, как умер наш сын, — сказала жена.

Она убедила его и на этот раз. Полковник направился к порту еще до того, как услышал, что загудели катера. На нем были лакированные ботинки, светлые брюки без ремня и рубашка без воротничка, застегнутая на медную пуговицу. Из магазина сирийца Моисея он наблюдал, как причаливают катера. Пассажиры сходили на берег, измученные восьмичасовым сидением на одном и том же месте. Те же люди, что и всегда: бродячие торговцы и жители городка, которые уехали неделю назад, а теперь возвращались к привычной жизни.

Последним причалил почтовый катер. В мучительном ожидании смотрел полковник, как катер швартуется. На палубе, привязанный к трубе и накрытый куском брезента, лежал мешок с письмами. Пятнадцать лет ожидания обострили его интуицию. Петух обострил тревогу. С того момента, как почтовый инспектор поднялся на катер, отвязал мешок и закинул его за спину, полковник не упускал его из виду.

Он шел за ним по улице, параллельной порту, мимо магазинчиков и лавочек, где пестрела, выставленная на продажу, всякая всячина. Каждый раз, когда полковник шел за почтовым инспектором, он испытывал тревогу, и каждый раз это было по-разному, но сердце всегда сжималось, будто от ужаса. На почте он увидел врача, поджидавшего газеты.

— Жена велела спросить, не ошпарили ли вас кипятком в нашем доме, доктор? — спросил полковник.

Врач был молодой, с блестящими, вьющимися кудрями, а зубы у него были такие великолепно, что это казалось совершенно неправдоподобным. Он заинтересовался состоянием больной. Полковник дал подробный отчет, не сводя взгляда с почтового инспектора, который раскладывал письма по ячейкам. Его неторопливые движения выводили полковника из себя.

Доктор взял письма и пачку газет. Отложил в сторонку проспекты научных изданий. Затем пробежал глазами письма. Инспектор между тем продолжал раскладывать почту. Полковник посмотрел на ящичек со своей буквой. Письмо «авиа» с голубой полоской по краям усилило его напряжение.

Врач сломал печать на пачке с газетами. Он просматривал главные новости, а полковник — не отрывая взгляда от ящичка — ждал, когда инспектор остановится возле него. Но этого не произошло. Врач оторвался от газет. Посмотрел на полковника. Потом взглянул на инспектора, который сел к телеграфному аппарату, и потом снова посмотрел на полковника.

— Мы уходим, — сказал врач.

Инспектор поднял голову.

— Полковнику ничего нет, — сказал он.

Полковник почувствовал себя уязвленным.

— Я ничего и не ждал, — солгал он. Он посмотрел на врача невинным взглядом ребенка. — У меня нет никого, кто бы мог мне написать.

Обратно шли молча. Врач шел, уткнувшись в газеты. Полковник в своей обычной манере — будто идет и ищет потерянную монету. Был ясный вечер. Миндальные деревья на площади роняли последние жухлые листья. Начинало смеркаться, когда они подошли к амбулатории.

— Какие новости? — спросил полковник.

Врач дал ему несколько газет.

— Кто его знает, — сказал он. — Разве можно вычитать что-нибудь между строк, пропущенных цензурой.

Полковник прочитал заголовки, набранные крупным шрифтом. Международные новости. Вверху статья на четыре колонки о национализации Су-

эцкого канала. Первая страница почти полностью занята извещениями о похоронах.

— Никакой надежды на выборы, — сказал полковник.

— Не будьте наивным, полковник, — сказал врач. — Мы уже слишком взрослые, чтобы ожидать пришествия Мессии.

Полковник хотел вернуть ему газеты, но врач отказался:

— Возьмите их себе, — сказал он, — почитайте сегодня вечером, а завтра утром вернете.

В начале восьмого на башне зазвонили колокола киноцензуры. Таким образом отец Анхель оповещал прихожан об уровне нравственности того или иного фильма, список которых он ежемесячно получал по почте. Жена полковника насчитала двенадцать уда-ров.

— Вредная для всех, — сказала она. — Уже почти год, как идут картины, вредные для всех. — Она опустила москитный полог и прошептала: — Мир погряз в грехе.

Но полковник не поддержал разговора. Прежде чем лечь спать, он привязал петуха к ножке кровати. Закрыл входную дверь и опрыскал спальню средством от насекомых. Потом поставил лампу на пол, повесил гамак и лег читать газеты.

Он читал их в той последовательности, как они были датированы, от первой страницы до последней, даже объявления. В одиннадцать прозвучал рожок — начинался комендантский час. Через полчаса полковник закончил чтение, открыл дверь в патио и в непроглядной тьме, атакуемый комарами, помочился на подпорку для деревьев. Жена еще не спала, когда он вернулся в комнату.

— Ничего не пишут о ветеранах? — спросила она.

— Ничего, — сказал полковник. Он потушил лампу и устроился в гамаке. — Раньше хоть печатали списки пенсионеров. А теперь вот уже пять лет, как не пишут ничего.

Ночью опять пошел дождь. Полковнику удалось уснуть, однако вскоре он проснулся, мучимый болью в животе. Услышал, как где-то в доме капает.

Завернувшись с головой в одеяло, он пытался на слух определить, где именно. Струйка холодного пота стекала по позвоночнику. У него был жар. Ему казалось, что он плавает по кругу в каком-то вязком болоте. Кто-то говорил с ним. Полковник отвечал ему, лежа на своей походной кровати.

— С кем ты разговариваешь? — спросила жена.

— С англичанином в тигровой шкуре, что появился в лагере полковника Аурелиано Буэндиа, — ответил полковник. Он перевернулся на другой бок, дрожа от озноба. — Это был герцог Мальборо.

Он проснулся на рассвете и чувствовал себя хуже некуда. Когда колокола вторично зазвонили к мессе, он выбрался из гамака и оказался лицом к лицу с сумеречной действительностью, потревоженной пением петуха. Перед глазами плавали круги. Его мутило. Он вышел в патио и сквозь тихие шорохи и едва различимые запахи зимы направился в уборную. В деревянной будке с цинковой крышей сильно пахло аммиаком и калом. Когда полковник открыл крышку, из ямы вылетела туча мух.

Ожидание оказалось напрасным. Сидя на корточках на неструганых досках, полковник чувствовал, что его мучительному желанию не суждено осуществиться. Позыв прошел, вместо него появилась глухая боль в кишечнике. «Никакого сомнения, — прошептал он. — В октябре у меня всегда так». И замер в позе доверчивого и простодушного ожидания, чтобы утихомирились грибы у него в животе. Потом вернулся в комнату за петухом.

— Ночью ты бредил, — сказала жена.

Оправившись от кризиса, продолжавшегося целую неделю, она начала наводить порядок в доме. Полковник сделал над собой усилие, пытаясь вспомнить.

— Это был не бред, — солгал он. — Я снова видел во сне паутину.

Как это всегда бывало, после кризиса болезни жена была в возбужденном состоянии. За утро она перевернула все в доме вверх дном. Переставила и перевесила все, что можно, — кроме часов и картины. Она была такая маленькая и быстрая, что

когда сновала по дому в мягких домашних тапочках и черном платье с глухим воротом, то казалось, обладает способностью проникать сквозь стены. Однако к полудню женщина обретала реальную плоть и реальный вес. Когда она лежала в кровати, ее как будто не было. Теперь же, когда она появлялась то тут, то там между горшками с папоротниками и бегониями, то заполняла собой весь дом.

— Если бы уже прошел год со дня смерти Агустина, я бы запела, — сказала она, помешивая в кастрюле, где, нарезанные мелкими кусочками, варились все съедобные плоды, что росли на этой тропической земле.

— Если тебе хочется петь, пой, — сказал полковник. — Это спасает от разлития желчи.

Доктор пришел после обеда. Полковник с женой пили кофе в кухне, когда он открыл входную дверь и крикнул:

— Здесь доживают умирающие?

Полковник поднялся ему навстречу.

— Как бы не так, доктор, — сказал он, направляясь в гостиную. — Я всегда говорил, что ваши часы никуда не годятся — слишком спешат.

Жена ушла в спальню, чтобы подготовиться к осмотру. Врач и полковник остались в гостиной. Несмотря на жару, безупречный полотняный костюм врача благоухал свежестью. Когда жена объявила, что готова, врач протянул полковнику конверт со сложенным листком внутри.

— Здесь то, о чем не написано во вчерашних газетах, — сказал он и прошел в спальню.

Полковник так и предполагал. Это была сводка последних событий в стране, напечатанная на мимеографе для нелегального распространения. Сообщения о вооруженном сопротивлении в отдаленных районах страны. Полковник был поражен. Десять лет чтения нелегальной литературы не научили его тому, что самая удивительная новость всегда впереди. Он закончил чтение, когда врач вернулся в гостиную.

— Эта больная меня переживет, — сказал он. — С такой астмой, как у нее, она может рассчитывать еще лет на сто.

Полковник мрачно смотрел на него. Молча протянул врачу конверт, но тот отказался его взять.

— Пусть и другие почитают, — тихо сказал он.

Полковник спрятал конверт в карман брюк. Жена вышла из спальни и сказала:

— В один прекрасный день я умру и заберу вас с собой в ад, доктор.

Врач лишь сверкнул ослепительными зубами. Потом лихо крутанул стулом, подсел к столу и достал из саквояжа несколько рекламных образчиков новых лекарств. Женщина, не глядя на них, прошла в кухню.

— Подождите, я подогрею вам кофе.

— Спасибо, не надо, — отозвался врач. Он выписывал рецепт. — Я решительно отвергаю любую возможность меня отравить.

Она засмеялась. Закончив писать, врач прочитал рецепт вслух, поскольку не надеялся, что кто-то сможет разобрать его почерк. Полковник пытался сосредоточиться. Вернувшись в гостиную, жена заметила, что переживания минувшей ночи оставили на нем свои следы.

— Сегодня на рассвете его лихорадило, — сказала она, показывая на мужа. — Чуть не два часа бредил о гражданской войне.

Полковник вздрогнул.

— Я не бредил, — настойчиво повторил он, пытаясь не терять самообладания. — Кроме того, — сказал он, — в тот день, когда я действительно почувствую себя плохо, я не стану ни на кого рассчитывать. Я сам выброшу себя на помойку.

Он ушел в спальню за газетами.

— Спасибо вам за цветок, — сказал врач.

Они вышли вместе и направились к площади. Воздух был сухой. Асфальт начинал плавиться от жары. Когда врач стал прощаться, полковник, сжав зубы, тихо спросил его:

— Сколько мы вам должны, доктор?

— Сейчас нисколько, — ответил врач и похлопал его по плечу. — Но я выставлю вам огромный счет, когда петух победит.

Полковник направился в портняжную мастерскую передать нелегальную информацию товари-

щам Агустина. Это мастерская стала его единственным прибежищем после того, как все его соратники по партии либо умерли, либо были высланы из городка, и он превратился в человека, у которого нет других забот, кроме как ждать почту по пятницам.

Дневная жара только подогрела активность жены. Она сидела среди бегоний, в патио, под навесом, а рядом с ней стояла коробка со старой одеждой, из которой она творила вечное чудо — делать что-то из ничего. Она делала воротнички из рукавов и манжеты из спины, а также прекрасные квадратные заплатки из разноцветных лоскутков. Неумолчно стрекотала цикада. Солнце начинало клониться к горизонту. Но она не следила за тем, как оно угасает среди бегоний. Она оторвалась от шитья уже в сумерках, когда вернулся полковник. Сцепила руки на затылке, потянулась и сказала:

— Мозги совсем задеревенели.

— Они у тебя всегда были такие, — сказал полковник; потом окинул взглядом жену, сплошь покрытую разноцветными лоскутками. — Ты похожа на дятла.

— Чтобы соорудить из этого хоть какую-то одежду, и вправду дятлом станешь, — ответила она. Разложила рубашку из трех кусков разного цвета, только воротничок и манжеты были одинаковые. — На карнавале тебе достаточно будет снять пиджак.

Ее перебил звон колоколов к вечерне. «И возвестил ангел Божий Деве Марии», — стала она молиться и пошла в спальню, прихватив одежду. Полковник немного поговорил с детьми, которые по пути из школы зашли поглазеть на петуха. Потом он вспомнил, что на завтра нет маиса, и пошел в спальню попросить у жены денег.

— По-моему, там осталось всего пятьдесят сентаво, — сказала она.

Она хранила деньги под матрасом, завязав их в носовой платок. Это были деньги, вырученные за швейную машинку Агустина. В течение девяти месяцев они тратили их сентаво за сентаво, распределяя между своими нуждами и нуждами петуха. Сей-

час там действительно остались только монетка в десять сентаво и две по двадцать.

— Купи фунт маиса, — сказала жена, — а на оставшиеся купишь кофе на завтра и четыре унции сыра.

— И позолоченного слона, чтобы повесить на дверь, — подхватил полковник. — Один маис стоит сорок два сентаво.

Они задумались.

— Петух — животное и может потерпеть, — заговорила жена первой.

Однако выражение лица полковника заставило ее умолкнуть. Он сел на кровать, уперев локти в колени, и позванивал монетками, зажатыми в кулаке.

— Я же не о себе думаю, — сказал он, немного помолчав. — Если бы дело было во мне, я бы сегодня же суп из него сварил. Прекрасно, должно быть, получить расстройство желудка за пятьдесят песо.

Полковник умолк и раздавил комара на шее. Он следил взглядом за женой, которая ходила по комнате.

— Я думаю о ребятах — они уже начали откладывать деньги.

Теперь задумалась она. Она ходила по комнате и опрыскивала стены средством от комаров. Что-то ирреальное показалось вдруг полковнику в ее движениях — будто она созывает на совет домашних духов. Наконец жена поставила распылитель на маленький алтарь с литографиями, и глазами цвета топленого сахара посмотрела прямо в глаза мужа, тоже цвета топленого сахара.

— Купи маиса, — сказала она. — Один Бог знает, как мы управимся дальше.

«Это чудо с преломлением хлебов», — каждый раз повторял полковник, когда они садились за стол всю следующую неделю. Отличаясь удивительной способностью штопать, латать и комбинировать, его жена, казалось, нашла средство и еду готовить из ничего. Октябрь не торопился заканчивать передышку. Сырость сменилась сонным оцепенением. Радуюсь медному сиянию солнца, жена посвятила три вечера своим волосам.

— Ну вот, начинается торжественная служба, — сказал полковник в тот вечер, когда она стала расче-

сывать длинные седые пряди гребнем с редкими зубьями.

На следующий день она сидела в патио, разложив у ног белую простыню, и частым гребнем вычесывала вшей, которые развелись во время болезни. Наконец на третий день она вымыла голову лавандовой водой, высушила их и закрутила на затылке в двойной узел, который закрепила гребешком. Все это время полковник просто ждал. Вечером, ворочаясь без сна в гамаке, он часами думал о петухе. В среду петуха взвесили, и он был в форме.

Когда приятели Агустина расходились по домам и весело шутили, будто победа уже была у них в кармане, полковник почувствовал что он тоже в форме. Жена подстригла его.

— Ты сняла с меня двадцать лет, — сказал он, ощупывая голову.

Жена нашла, что он прав.

— Когда я чувствую себя хорошо, я и мертвого могу оживить, — сказала она.

Но их оживление длилось недолго. В доме уже нечего было продавать, разве что часы и картину. В четверг вечером, когда истощились последние запасы, жена забеспокоилась.

— Не волнуйся, — утешил ее полковник. — Завтра придет почта.

На следующий день он поджидал катер, стоя у дверей амбулатории.

— Самолет — удивительная вещь, — сказал полковник, не отрывая взгляда от мешка с почтой. — Говорят, он может долететь до Европы за одну ночь.

— Может, — сказал врач, обмахиваясь, как веером, иллюстрированным журналом.

Полковник заметил почтового инспектора среди людей, что ждали, пока причалит катер и можно будет на него подняться. Инспектор прыгнул первым. Взял у капитана запечатанный конверт. Потом поднялся на палубу. Почтовый мешок был привязан возле бочки с нефтью.

— Однако это опасно, — сказал полковник.

Он потерял инспектора из виду, но потом отыскал его около тележки с разноцветными бутылками лимонада.

— Человечество всегда платит за прогресс.

— На самом деле самолет безопаснее катера, — сказал доктор. — На высоте двадцать тысяч футов никакая буря не достанет.

— Двадцать тысяч футов, — повторил пораженный полковник, не представляя себе, как можно летать на такой высоте.

Врач решил развить тему. Он вытянул вперед обе руки, держа на ладонях раскрытый журнал, и застыл в полной неподвижности.

— Должна быть абсолютная устойчивость, — сказал он.

Но внимание полковника было целиком поглощено почтовым инспектором. Он видел, как тот пьет розовый пенящийся лимонад, держа стакан в левой руке. В правой он держал мешок с почтой.

— Кроме того, в море стоят на якоре корабли, что держат постоянную связь с ночными самолетами, — продолжал врач. — С такими предосторожностями самолет куда надежнее катера.

Полковник посмотрел на него.

— Это уж конечно, — сказал он. — Должно быть, как на ковре-самолете.

Инспектор сразу направился к ним. Полковник невольно отступил назад — его охватила мучительная тревога, он старался угадать, кому адресовано письмо в запечатанном конверте. Инспектор развязал мешок. Отдал врачу пачку с газетами. Потом вскрыл пакет с частными письмами, проверил их количество по квитанции и прочитал фамилии тех, кому они были адресованы. Врач развернул газеты.

— Опять проблема Суэцкого канала, — сказал он, глядя на заголовки. — Запад теряет почву под ногами.

Полковнику было не до газет. Он старался справиться с болью в желудке.

— С тех пор как ввели цензуру, в газетах только и пишут что о Европе, — сказал он. — Надо бы европейцам переехать сюда, а мы бы переехали в Европу. Тогда каждый узнал бы, что происходит в его собственной стране.

— Для европейцев Южная Америка — это муж-

чина с усами, с гитарой и с пистолетом, — со смехом сказал врач, не отрываясь от газеты. — Им не понять наших проблем.

Инспектор отдал ему письма. Положил остальные в мешок и завязал его.

Врач собрался было прочитать полученные письма. Но прежде чем разорвать конверт, взглянул на полковника. Потом на почтового инспектора.

— Полковнику ничего нет?

Полковника охватил ужас. Инспектор закинул мешок за спину, сделал несколько шагов в сторону и ответил, не поворачивая головы:

— Полковнику никто не пишет.

Вопреки заведенному обычаю, полковник не сразу пошел домой. Сидел и пил кофе в портняжной мастерской, пока товарищи Агустина листали газеты. Он чувствовал себя обманутым. Он бы предпочел так и сидеть здесь до следующей пятницы, а не являться нынче вечером к жене с пустыми руками. Но когда мастерская закрылась, он оказался лицом к лицу с неизбежной действительностью. Жена ждала его.

— Ничего? — спросила она.

— Ничего, — ответил полковник.

В следующую пятницу он снова встречал катер. И как во все предыдущие пятницы, вернулся домой без долгожданного письма.

— Хватит нам уже ждать, — сказала ему жена в тот вечер. — Надо иметь воловье терпение, чтобы пятнадцать лет ждать письма.

Полковник лег в гамак и стал читать газеты.

— Надо ждать своей очереди, — сказал он. — Наш номер — тысяча восемьсот двадцать три.

— С тех пор как мы ждем, этот номер дважды выпадал в лотерею, — ответила жена.

Как всегда, полковник прочитал все газеты от первой страницы до последней, включая объявления. Но на этот раз не очень внимательно. Он все думал о своей пенсии ветерана. Девятнадцать лет назад, когда Конгресс провозгласил закон о пенсиях, начался оправдательный процесс, который тянулся восемь лет. Затем прошло еще шесть, прежде чем полковника включили в список пенсионеров. Так

было написано в последнем письме, которое получил полковник.

Он закончил чтение уже после комендантского часа. Собирался погасить свет и тут заметил, что жена еще не спит.

— У тебя сохранилась та вырезка?

Жена ответила не сразу.

— Да. Должно быть, она там, где все остальные бумаги.

Она выбралась из-под москитника и достала из платяного шкафа деревянную шкатулку, где лежала, перетянутая резинкой, пачка писем, сложенных в порядке получения. Там же было объявление адвокатской конторы, обещавшей активное содействие в получении военных пенсий.

— С тех пор как я твержу тебе, чтобы ты сменил адвоката, прошло столько времени, что мы успели бы не только получить деньги, ни и потратить их, — сказала жена, передавая мужу вырезку из газеты. — Что хорошего будет, если нам положат деньги в гроб, словно индейцам.

Полковник перечитал газетную статью двухлетней давности, положил ее в карман рубашки, висевшей за дверью.

— Плохо, если для замены адвоката потребуются деньги.

— Не сейчас, — решительно возразила жена. — Мы напишем им, пусть вычтут из той самой пенсии, которую они нам выхлопочут. Это единственный способ их заинтересовать.

В субботу полковник отправился к своему адвокату. Тот беззаботно покачивался в гамаке. Это был огромный негр, у которого из всех зубов сохранились только два резца в верхней челюсти. Он сунул ноги в шлепанцы на деревянной подошве и открыл окно кабинета; у окна стояла пыльная пианола, заваленная какими-то бумагами: вырезками из «Диарио офисиаль», приклеенными к старым бухгалтерским отчетам, и целая коллекция разномастных извещений из Налогового управления. Пианола без клавиш служила также и письменным столом. Адвокат уселся на пружинистый стул. Прежде чем объяснить причину своего визи-

та, полковник выразил обеспокоенность ходом дела.

— Я предупреждал вас: такие дела не делаются в один день, — сказал адвокат, когда полковник сделал паузу.

Адвокат изнывал от жары. Откинулся на спинку стула и обмахивался рекламным проспектом.

— Я постоянно держу связь с моими доверенными лицами, и они советуют не отчаиваться.

— И так вот уже пятнадцать лет, — ответил полковник. — Прямо как в сказке про белого бычка.

Адвокат пустился в подробные описания бюрократического процесса. Стул был слишком мал для его дряблых ягодиц.

— Пятнадцать лет назад все было проще, — сказал он. — Тогда еще была муниципальная ассоциация ветеранов, куда входили представители обеих партий.

Он набрал в легкие обжигающий воздух и изрек так, будто сам только что это придумал:

— В единстве — сила.

— Это не мой случай, — сказал полковник, впервые осознав свое одиночество. — Все мои товарищи умерли, дожидаясь пенсии.

Адвоката это не смутило.

— Закон был принят слишком поздно, — сказал он. — Не всем повезло, как вам, — стать полковником в двадцать лет. Кроме того, правительству пришлось выкраивать на него деньги из бюджета.

Одна и та же история. Каждый раз, когда полковник ее слышал, он чувствовал глухое раздражение.

— Я не милостыню прошу, — сказал он. — Речь не идет о том, чтобы нам сделали одолжение. Мы рисковали своей шкурой, спасая Республику.

Адвокат развел руками:

— Все это так, полковник, — сказал он. — Человеческая неблагодарность не знает границ.

И это полковник слышал не раз. Впервые подобные слова он услышал на следующий день после заключения Неерландского пакта, когда правительство обещало помочь двумстам офицерам вернуться домой и возместить им убытки. В Неерландии они разбили лагерь вокруг гигантской сейбы, и весь ре-

волюционный батальон, состоявший по большей части из подростков, сбежавших из школы, ждал в течение трех месяцев. Потом они разбрелись по домам, добираясь своим ходом, а дома продолжали ждать до смерти.

С тех пор прошло почти шестьдесят лет — полковник все ждал.

Взволнованный воспоминаниями, он приосанился. Упершись правой рукой в костлявое бедро — кожа да кости, — он прошептал:

— Так вот, я принял решение.

Адвокат насторожился.

— То есть?

— Я меняю адвоката.

В кабинет вошла утка, за ней — несколько желтых утят. Адвокат приподнялся в кресле, намереваясь их выгнать.

— Как скажете, полковник, — сказал он, выпроваживая птиц. — Как скажете, так и будет. Если бы я мог творить чудеса, я бы не жил на этом скотном дворе.

Он загородил деревянной решеткой дверь в патио и снова сел на стул.

— Мой сын работал всю свою жизнь, — сказал полковник. — Мой дом заложен. Закон о пенсиях превратился в пожизненное содержание для адвокатов.

— Только не для меня, — возразил адвокат. — Я тратил все до последнего сентаво на судебные издержки.

Полковник почувствовал неловкость от проявленной им самим несправедливости.

— Именно это я и хотел сказать, — поправился он. Вытер лоб рукавом рубашки. — От этой жары даже мозги ржавеют.

Адвокат тотчас стал переворачивать все вверх дном в поисках договора. Солнце уже добралось до середины его жалкой комнатенки, сколоченной из неструганных досок. После бесполезных поисков везде и всюду адвокат встал на четвереньки и пыхтя вытащил какой-то рулон из-под пианолы.

— Вот она.

Он протянул полковнику лист гербовой бумаги.

— Мне надо написать моим поверенным, чтобы они аннулировали копии, — сказал он.

Полковник стряхнул с документа пыль и положил его в карман рубашки.

— С таким же успехом вы можете ее разорвать, — сказал адвокат.

— Нет, — ответил полковник. — Это двадцать лет воспоминаний. — Он ожидал, что адвокат продолжит поиски документов. Но тот и не думал этого делать. Он подошел к гамаку и вытер пот. Затем посмотрел на полковника сквозь дрожащий от зноя воздух.

— Мне нужны и другие документы, — сказал полковник.

— Какие?

— Оправдательный приговор.

Адвокат развел руками.

— Это совершенно невозможно, полковник.

Полковник встревожился. Будучи казначеем революционной армии округа Макондо, он шел долгие шесть дней, приторочив к спине мула два мешка с казной народного ополчения.

Он добрался до лагеря в Неерландии, волоча за собой полудохлого от голода мула, за полчаса до подписания договора. Полковник Аурелиано Буэндиа — генерал-интендант революционной армии Атлантического побережья — выдал ему расписку и включил оба мешка в инвентарный список имущества, подлежащего сдаче при капитуляции.

— Это документы огромной важности, — сказал полковник. — Акт получения казны подписан собственноручно полковником Аурелиано Буэндиа.

— Согласен, — сказал адвокат. — Но эти документы прошли через много тысяч рук и много тысяч кабинетов, пока не осели Бог знает в каком отделе военного министерства.

— Ни один документ подобного значения не может пройти незамеченным ни для какого чиновника, — сказал полковник.

— Но за последние пятнадцать лет чиновники менялись множество раз, — заметил адвокат. — Вы подумали о том, что за это время сменилось семь президентов и что каждый президент десять

раз сменил весь свой штат, а каждый министр по меньшей мере сто раз сменил всех своих чиновников?

— Но ведь никто не уносил эти документы домой, — сказал полковник. — Каждый новый чиновник находил их на том же самом месте.

Адвокат отчаялся.

— Кроме того, если сейчас отозвать бумаги из министерства, они будут ходить по всем отделам, прежде чем вы снова попадете в список.

— Не важно, — сказал полковник.

— Но это растянется еще на сто лет.

— Не важно. Тот, кто ждет многого, сумеет дожидаться малого.

Полковник положил на столик в гостиной пачку линованной бумаги, ручку, чернильницу и промокашку и оставил дверь открытой на случай, если надо будет посоветоваться с женой. Она молилась, перебирая четки.

— Какое сегодня число?

— Двадцать седьмое октября.

Он писал, старательно выводя буквы, положив ручку на промокательную бумагу и выпрямив спину, чтобы было легче дышать, как его когда-то учили в школе.

Духота в комнате стояла невыносимая. Капля пота упала на бумагу. Полковник промокнул ее.

Потом попытался стереть расплывшиеся слова, но получилась клякса. Он не стал отчаиваться. Сделал пометку и написал на полях: «Все права имеют силу». Потом прочитал весь абзац.

— Когда меня включили в список?

Жена вспоминала, не прерывая молитвы.

— Двенадцатого августа 1949 года.

Вскоре начался дождь. Полковник заполнил страницу крупными, немного детскими буквами, какими его учили писать в государственной школе в Манауре. Потом исписал еще полстраницы и поставил подпись.

Прочитал письмо жене. После каждой фразы она одобрительно кивала. Закончив читать, полковник заклеил конверт и погасил лампу.

— Попроси кого-нибудь, чтобы отпечатали письмо на машинке.

— Нет, — ответил полковник. — Я устал просить об одолжениях.

Полчаса было слышно только, как дождь стучит по крыше из пальмовых листьев. Городок будто тонул в потоках ливня. После наступления комендантского часа где-то в доме опять закапало.

— Давно нужно было это сделать, — сказала жена. — Всегда лучше действовать без посредников.

— Никогда не бывает слишком поздно, — сказал полковник, стараясь определить, где же все-таки капает. — Может, вопрос решится раньше, чем кончится срок закладной на дом.

— Осталось два года, — сказала жена.

Полковник зажег лампу, чтобы выяснить, где протечка. Подставил туда миску петуха и вернулся в спальню, преследуемый характерным звуком капель, падающих на жестяное дно.

— Может, чтобы быстрее получить свои деньги, они решат дело до января, — сказал он и сам в это поверил. — К тому времени пройдет год, как умер Агустин, и мы сможем пойти в кино.

Она тихо рассмеялась.

— Я уж и не помню, какие бывают фильмы, — сказала она.

Полковник попытался разглядеть ее сквозь москитную сетку.

— Когда ты была в кино последний раз?

— В 1931 году, — сказала она. — Фильм назывался «Последняя воля мертвеца».

— А драка там была?

— Этого я так и не узнала. Когда призрак хотел украсть у девушки ожерелье, хлынул дождь.

Уснули они под шум дождя. Полковник чувствовал легкую боль в животе. Но это его не тревожило. Он почти пережил еще один октябрь. Завернулся в шерстяное одеяло и некоторое время слушал хриплое дыхание жены — будто бы издалека, — а потом отправился в плавание по царству снов. Вдруг он заговорил так ясно, будто бы и не засыпал. Жена проснулась.

— С кем ты разговариваешь?

— Ни с кем, — сказал полковник. — Я думал о том, что тогда, на собрании в Макондо, мы были правы. Мы говорили полковнику Аурелиано Буэндиа, чтобы он не сдавался. Он нас не послушался, из-за этого потом все и рухнуло.

Дождь шел целую неделю. Второго ноября — против воли полковника — жена снесла цветы на могилу Агустина. Когда она вернулась с кладбища, у нее снова начался приступ астмы. Это была тяжелая неделя. Даже тяжелее, чем все четыре недели октября, которые полковник уже не надеялся пережить. Врач пришел осмотреть больную и вышел из комнаты, по обыкновению бодро восклицая: «Если такую астму принимать всерьез, я бы уже приготовился перехоронить весь город». Но потом поговорил с полковником наедине и прописал строгий постельный режим.

У полковника тоже произошло ухудшение. Он мучился, по нескольку часов сидя в уборной и покрываясь холодным потом, и ему казалось, что его внутренности гниют и разваливаются на куски.

— Это все зима, — повторял он, чтобы не впасть в отчаяние. — Вот кончатся дожди, и все будет по-другому.

И он действительно верил в это, потому как ему обязательно нужно было дожить до того дня, когда придет письмо.

Теперь настал его черед вести хозяйство так, чтобы сводить концы с концами. Приходилось, стиснув зубы, выпрашивать в кредит продукты в соседних лавочках.

— Только до будущей недели, — говорил он, не веря в то, что говорит. — В пятницу я должен получить кое-какие деньги.

Когда у жены прошел кризис, она была поражена, увидев, что с ним стало.

— Одни кости, — сказала она.

— Готовлюсь на продажу, — ответил полковник. — Получил заказ от фабрики кларнетов.

На самом деле он держался только надеждой на письмо. Кости его ныли от бессонницы, а домашнее хозяйство и заботы о петухе изнурили окончательно. Во второй половине ноября он подумал,

что петух, который вот уже два дня сидел без маиса, может подохнуть. И тут вспомнил о горсти фасоли, которую еще в июле повесил над плитой. Он снял шелуху и положил петуху в миску сухие зернышки.

— Поди сюда, — позвала его жена

— Сейчас, — ответил полковник, наблюдая за поведением петуха. — С голодухи-то и не такое съешь.

Жена пыталась приподняться в кровати. От нее пахло лекарствами. Она произнесла, четко выговаривая каждое слово:

— Ты немедленно избавишься от петуха.

Полковник знал, что когда-нибудь он услышит эти слова. Он ждал их с того самого вечера, когда убили сына и когда он решил сохранить петуха. У него было время обдумать ответ.

— Теперь уже не стоит, — сказал он. — Через три месяца начнутся бои, и мы сможем продать его гораздо дороже.

— Дело не в деньгах, — сказала жена. — Когда придут ребята, скажи им, пусть забирают его и делают с ним все, что хотят.

— Ведь все это ради Агустина, — произнес полковник заготовленный аргумент. — Ты только представь себе, с каким лицом он бы рассказывал нам о победе петуха.

Женщина подумала о сыне.

— Эти проклятые петухи и погубили его! — закричала она. — Если бы третьего января он остался дома, беды бы не случилось.

Она указала на дверь тощим пальцем и воскликнула:

— Я так и вижу, как он выходит из дома с петухом под мышкой. Я предупреждала его: «Не ищи себе на голову беды на гальере», — а он только улыбнулся во весь рот и сказал: «Да брось, ты! Сегодня вечером мы не будем знать, куда деньги девать».

Обессиленная, она откинулась на спину. Полковник осторожно устроил ее на подушках. Его глаза встретились с ее глазами, так похожими на его собственные.

— Постарайся не шевелиться, — сказал он, слыша, как что-то свистит у нее в легких.

Женщина впала в забытие.

Закрыла глаза. А когда снова открыла, ее дыхание было более спокойным.

— Это все из-за того, что мы нищие, — сказала она. — Грех отрывать от себя хлеб, чтобы скормить его петуху.

Полковник вытер ей лоб кончиком простыни.

— За три-то месяца не умрем, наверное.

— А что мы будем есть эти три месяца? — спросила жена.

— Не знаю, — сказал полковник. — Если бы нам суждено было умереть от голода, мы бы уже давно умерли.

Петух, в полном здравии, стоял перед пустой миской. Увидев полковника, он произнес гортанный монолог, почти как человек, и откинул голову. Полковник улыбнулся ему как заговорщик:

— Жизнь — штука нелегкая, приятель.

Он вышел на улицу. Шел по улицам городка, перегруженного в сиесту, ни о чем не думая, даже не стараясь убедить себя в том, что у него есть какой-нибудь выход. Он бродил по безлюдным улицам, пока не кончились силы. Тогда он вернулся домой. Жена, слыша, что он пришел, позвала его.

— Что тебе?

Она ответила, не глядя на него.

— Мы можем продать часы.

Полковник уже думал об этом.

— Уверена, Альваро тут же выложит тебе сорок песо, — сказала она. — Вспомни, как он сразу же купил швейную машинку.

Она имела в виду портного, на которого работал Агустин.

— Завтра утром я с ним поговорю, — согласился полковник.

— Зачем откладывать до утра? — настаивала она — Отнеси их сейчас же, поставь ему на стол и скажи «Альваро, я принес часы, чтобы ты купил их у меня». Он и сам все поймет.

Полковник почувствовал себя несчастным.

— Это все равно что тащить на себе гроб Госпо-

день, — запротестовал он. — Если меня увидят на улице с такой ношей, обо мне начнут петь куплеты на манер Рафаэля Эскалоны.

Но и на этот раз жена убедила его. Она сняла часы со стены, завернула их в газеты и протянула ему сверток.

— Без сорока песо не возвращайся, — сказала она.

Полковник направился в портняжную мастерскую, неся сверток под мышкой. На крыльце сидели приятели Агустина.

Один из них предложил ему сесть. Полковник почувствовал себя неловко.

— Спасибо, — сказал он. — Я просто шел мимо.

Из мастерской вышел Альваро. Стал развешивать кусок мокрого полотна на проволоке, протянутой в коридоре. Это был крепкий, угловатый парень с блестящими глазами. Он тоже пригласил полковника сесть. Тот приободрился. Подвинул к дверям табурет, сел и стал ждать, когда Альваро останется один, чтобы предложить ему сделку.

Вскоре он заметил, что все вокруг сидят с каменными лицами.

— Я, наверное, помешал, — сказал он.

Парни запротестовали. Один придвинулся к полковнику и еле слышно сказал:

— Тут кое-что, написанное Агустином.

Полковник осмотрелся — улица была пустынна.

— И что в листовке?

— То же, что всегда.

Ему протянули листовку. Полковник спрятал ее в карман брюк. Молчал и только барабанил пальцами по свертку до тех пор, пока не почувствовал, что на него смотрят с любопытством. Тогда он совсем растерялся.

— Что вы принесли, полковник?

Полковник старался не встретиться взглядом с внимательными зелеными глазами Хермана.

— Ничего, — солгал он. — Несу часы немцу, чтоб он их починил.

— Не стоит упрячиться, полковник, — сказал Херман, пытаясь забрать у него сверток. — Давайте, я их сам посмотрю.

Но полковник часы не отдавал. Он не произнес ни слова, но покраснел до корней волос. Все вокруг настаивали.

— Отдайте ему часы, полковник. Он понимает в механизмах.

— Я не хочу никого затруднять.

— Да какие там затруднения, — запротестовал Херман. И взял наконец часы. — Немец сдерет с вас десять песо и ничего не сделает.

С часами он пошел в мастерскую. Альваро шил на машинке. В глубине комнаты сидела девушка и пришивала пуговицы. Прямо над ней, на гвозде, висела гитара. Над гитарой красовалась надпись: «Говорить о политике запрещается». Полковник не знал, куда девать руки. Поставил ноги на перекладину табурета.

— Дерьмовая жизнь, полковник.

Полковник вздрогнул.

— Только без ругательств, — сказал он.

Альфонсо надел на нос очки и стал внимательно осматривать ботинки полковника.

— Я насчет ботинок, — сказал он. — Ничего себе обнова у вас.

— Но ведь это можно сказать и без бранных слов, — сказал полковник, показывая подошвы своих лакированных туфель. — Этим чудищам сорок лет, но они впервые слышат подобные ругательства.

— Готово, — крикнул Херман из глубины мастерской, и тут как раз часы зазвонили.

В соседнем доме забарабанили в стену, и какая-то женщина прокричала:

— Прекратите играть на гитаре, еще год не прошел со смерти Агустина.

Все засмеялись.

— Это же часы.

Херман вышел с часами в руках.

— Ничего серьезного, — сказал он. — Если хотите, я провожу вас до дома и помогу повесить.

Полковник отказался.

— Сколько я должен?

— Не беспокойтесь, полковник, — ответил Херман, садясь на прежнее место. — В январе за все заплатит петух.

Полковник решил, что настал подходящий момент.

— Хочу предложить тебе одну вещь, — сказал он.

— Какую?

— Я дарю тебе петуха. — И он обвел взглядом всех присутствующих. — Я дарю его всем вам.

Херман озадаченно посмотрел на него.

— Я слишком стар, — продолжал полковник. Он придал голосу подобающую случаю убедительность. — Слишком большая ответственность. Вот уже несколько дней мне кажется, что он умирает.

— Вы зря тревожитесь, полковник, — сказал Альфонсо. — Просто в это время петухи меняют перья. Поэтому у них воспаленная кожа.

— Через месяц он будет в порядке, — заверил Херман.

— В любом случае я не хочу больше держать его у себя, — сказал полковник.

Херман сверлил его взглядом.

— Поймите, полковник, — настаивал он. — Важно, чтобы именно вы принесли на галерею петуха Агустина.

Полковник помолчал.

— Я понимаю, — сказал он. — Поэтому я до сих пор его и держал. — Он стиснул зубы и почувствовал в себе силы продолжить разговор:

— Самое плохое, что осталось еще три месяца.

Херман наконец понял.

— Если дело только в этом, нет ничего проще, — сказал он.

И внес предложение. Остальные одобрили. Вечером, когда полковник вернулся домой со свертком под мышкой, жена встретила его, не скрывая разочарования.

— Ничего не вышло? — спросила она.

— Ничего, — ответил полковник. — Но это уже не важно. Ребята взялись кормить петуха.

— Подождите, кум, я дам вам зонтик.

Дон Сабас открыл стенной шкаф. Там царил полнейший беспорядок: сапоги для верховой езды вперемешку со стремями и поводьями, алюминиевый ящик, доверху заполненный шпорами. В верхней части шкафа висело полдюжины мужских

зонтов и один женский зонтик от солнца. Все это показалось полковнику похожим на останки давнишней катастрофы.

— Спасибо, кум, — сказал он, опершись о подоконник. — Я лучше подожду, пока дождь кончится.

Дон Сабас не стал закрывать шкаф. Он сел у письменного стола так, чтобы его обдувал электрический вентилятор. Потом вынул из коробочки шприц, обернутый ватой. Полковник смотрел на миндальные деревья — сквозь дождь они казались свинцовыми. Улица была безлюдна.

— Дождь кажется совсем другим, если смотреть на него из окна, — сказал он. — Как будто он идет где-то в другом городе.

— Дождь всегда дождь, откуда ни смотри, — ответил дон Сабас. Он кипятил шприц на столешнице, покрытой стеклом. — И город этот — дерьмо.

Полковник пожал плечами. Он походил по конторе: гостиная в зеленых изразцах, обитая яркими тканями мебель. В углу, сваленные в кучу, лежали мешки с солью, бурдюки с медом, седла. Дон Сабас смотрел на полковника отсутствующим взглядом.

— На вашем месте я бы так не думал, — сказал полковник.

Он сел, скрестив ноги, и устремил спокойный взгляд на дона Сабаса, склонившегося над письменным столом. Маленький человечек, дряблый и одутловатый, с лягушачьей тоской в глазах.

— Вам бы надо самому осмотреться у врача, кум, — сказал дон Сабас. — Вы все никак не придете в себя со дня похорон.

Полковник поднял голову.

— Я чувствую себя прекрасно, — сказал он.

Дон Сабас ждал, пока прокипятится шприц.

— Если б я мог сказать такое о себе, — пожаловался он. — А вы счастливчик — небось можете съесть даже медные шпоры.

Он рассматривал свои волосатые руки, покрытые бурыми пятнами. Кроме обручального кольца, на том же пальце он носил перстень с черным камнем.

— Могу, — подтвердил полковник.

Дон Сабас просунул голову в дверь, соединяв-

шую контору с остальной частью дома, и позвал жену. Потом пустился в душераздирающие объяснения о своем режиме питания. Вынул из кармана рубашки какой-то пузырек и вытряхнул из него на письменный стол белую таблетку величиной с фасолину.

— Такое мучение повсюду таскать это с собой, — сказал он. — Как будто носишь собственную смерть.

Полковник подошел к столу. Положил таблетку на ладонь и стал внимательно рассматривать ее, пока дон Сабас не предложил ему попробовать.

— Это чтобы подсластить кофе, — объяснил он полковнику. — Сахар, но без сахара.

— Понятно, — сказал полковник, чувствуя во рту печально-сладковатый привкус. — Это как колокольный звон без колоколов.

Дон Сабас облокотился на стол и, пока жена делала ему укол, спрятал лицо в ладонях. Полковник не знал, куда себя девать. Женщина выключила электрический вентилятор, поставила его на сейф и подошла к шкафу.

— Зонтики почему-то напоминают мне о смерти, — сказала она.

Полковник не обратил внимания на ее слова. Он вышел из дома в четыре с намерением встретить почту, но дождь загнал его под крышу дона Сабаса. Когда пришли катера, дождь все еще лил.

— Говорят, смерть всегда является в виде женщины, — продолжала жена дона Сабаса. Она была выше своего мужа, полная, с волосатой бородавкой над верхней губой. Ее манера говорить напоминала жужжание вентилятора. — А мне не кажется, что она должна быть женщиной, — добавила она. Закрыла шкаф и обернулась к полковнику, пытаясь поймать его взгляд: — Мне кажется, она должна быть похожа на животное с копытами.

— Возможно, — согласился полковник. — Чего только не бывает на свете.

Он подумал о почтовом инспекторе, который в своем клеенчатом плаще, должно быть, запрыгивает сейчас на катер. Прошел месяц с того дня, как полковник поменял адвоката. Пора бы уже получить ответ. Жена

дона Сабаса все продолжала говорить о смерти, пока не заметила наконец, что полковник ее не слушает.

— Кум, — сказала она, — вы чем-то озабочены?

Полковник очнулся.

— Ваша правда, кума, — солгал он. — Я вспомнил, что до сих пор не сделал укол петуху, а ведь уже пять часов.

Женщина была поражена.

— Укол петуху, будто он человек! — воскликнула она. — Какое кощунство!

Дон Сабас не выдержал. Поднял побагровевшее лицо.

— Закрой рот хоть на минуту, — приказал он жене. Она тут же закрыла рот руками. — Ты уже полчаса надоедаешь куму своими глупостями.

— Что вы, никоим образом, — запротестовал полковник.

Женщина хлопнула дверью. Дон Сабас вытер шею платком, благоухавшим лавандой.

Полковник подошел к окну. Дождь все шел и шел. Курица пересекала пустынную площадь, ступая в воду длинными желтыми лапами.

— Вы что, действительно девааете уколы петуху?

— Действительно, — сказал полковник. — На следующей неделе начнутся тренировки.

— Это безрассудно, — сказал дон Сабас. — Все это не для вас.

— Согласен, — сказал полковник. — Но это не причина, чтобы свернуть петуху шею.

— Идиотское упрямство, — сказал дон Сабас, подходя к окну.

Его шумное дыхание напоминало звук раздувающихся мехов. Полковник исполнился состраданием.

— Послушайте моего совета, кум, — сказал дон Сабас. — Продайте вы этого петуха, пока не поздно.

— Никогда не бывает поздно ни для чего, — сказал полковник.

— Будьте же благоразумны, — настаивал дон Сабас. — Вы убьете сразу двух зайцев. С одной стороны, вы избавитесь от этой головной боли, а с другой — положите себе в карман девятьсот песо.

— Девятьсот песо! — выдохнул полковник.

— Девятьсот.

Полковник попытался представить себе подобную сумму денег.

— Вы полагаете, за петуха дадут такую уйму деньжищ?

— Не то что полагаю, — ответил дон Сабас. — Я абсолютно в этом уверен.

Такую сумму полковник не держал в руках с тех пор, как сдал под расписку казну революционной армии. Когда он вышел из конторы дона Сабаса, ему казалось: кишки у него завязались узлом, но на этот раз он знал — дело не в погоде. На почте он направился прямо к инспектору:

— Я жду срочное письмо. Авиа.

Инспектор пересмотрел в соответствующем ящичке все конверты, потом положил их обратно и ничего не сказал. Он отряхнул ладони и выразительно посмотрел на полковника.

— Но письмо обязательно должно было прийти сегодня.

Инспектор пожал плечами.

— Только смерть приходит обязательно, полковник.

Жена ждала полковника, приготовив маисовую кашу. Он ел молча, с долгими паузами после каждой ложки, уйдя в свои мысли. Жена, сидевшая напротив него, заметила в нем какую-то перемену.

— Что с тобой? — спросила она.

— Я думаю о чиновнике, от которого зависит моя пенсия, — солгал полковник. — Через пятьдесят лет мы будем спокойно лежать в земле, а этот бедняга будет изводиться каждую пятницу в ожидании своей пенсии.

— Плохой признак, — сказала жена. — Это означает, что ты начинаешь сдаваться.

Она снова принялась за кашу. Через минуту она вновь заметила, что у мужа по-прежнему отсутствующий вид.

— Ты бы лучше ел кашу.

— Каша очень вкусная, — сказал полковник. — Откуда ты взяла маис?

— У петуха, — ответила женщина. — Ребята принесли ему столько, что он решил поделиться с нами. Вот такая жизнь.

— Да, это так, — вздохнул полковник. — Жизнь — лучшее изобретение на земле!

Он посмотрел на петуха, привязанного к плите, и ему показалось, что тот выглядит по-иному, чем прежде. Жена тоже взглянула на петуха.

— Сегодня мне пришлось прогонять детей палкой, — сказала она. — Они принесли для него старую курицу, чтобы он ее потоптал.

— Что ж тут особенного, — сказал полковник. — То же самое было с полковником Аурелиано Буэндиа, когда мы занимали какую-нибудь деревню. Ему тоже приводили девушек.

Жене сравнение понравилось. Петух издал гор-таный возглас, чрезвычайно похожий на человеческий, особенно если слышать его через коридор.

— Иногда я думаю, эта птица вот-вот заговорит. — сказала жена.

Полковник снова посмотрел на петуха.

— Голос звонкий, что звон монет, — вот какой это петух, — сказал он. Он что-то подсчитывал, пережевывая кашу. — Он будет кормить нас три года.

— Фантазиями сыт не будешь, — сказала женщина.

— Фантазии, может, и не кормят, но пищу дают, — ответил полковник. — Что-то похожее на волшебные таблетки кума Сабаса.

Спал он этой ночью плохо — все что-то считал в уме. На следующее утро жена снова подала маисовую кашу и, наклоня голову, стала есть, не произнося ни слова. Полковнику передалось ее дурное настроение.

— Что с тобой?

— Ничего.

Получалось: теперь настала ее очередь лгать. Полковник попытался ее утешить. Она не обращала внимания на его слова.

— Правда, ничего, — сказала она. — Я думаю о том, что прошло уже два месяца после похорон, а я так и не сходила выразить соболезнования.

Она решила пойти сегодня же вечером. Полковник проводил ее до дома покойного, а сам направился к кинотеатру, привлеченный музыкой, льющейся из громкоговорителей. Отец Анхель,

сидя у дверей своего дома, следил за входом, чтобы знать, кто из прихожан собирается смотреть фильм, несмотря на двенадцать предупреждающих ударов колокола. Потоки света, громкая музыка, крики детей создавали мощное противодействие запретам отца Анхеля, почти ощутимое физически. Какой-то мальчишка нацелил на полковника деревянное ружье.

— Как петух, полковник? — грозно крикнул он.

Полковник поднял руки вверх.

— В полном порядке.

Фасад здания закрывала афиша, раскрашенная всеми цветами радуги: «Полуночная девственница». На афише была изображена женщина в бальном платье, в разрезе которого виднелась стройная нога, открытая до середины бедра. Полковник бродил около кинотеатра до тех пор, пока не послышались отдаленные раскаты грома и на горизонте не засверкали молнии. Тогда он отправился за женой.

Но в доме покойного ее не было. Не было ее и дома. Хотя часы стояли, полковник прикинул, что до комендантского часа остается совсем немного времени, хотя часы стояли. Он ждал, слушая, как на городок надвигается гроза. Он уже было решил идти искать жену, как она вошла в комнату.

Он отнес петуха в спальню. Она переоделась и вошла в гостиную попить воды как раз в тот момент, когда полковник собирался завести часы и ждал горна, возвещавшего наступление комендантского часа.

— Где ты была? — спросил полковник.

— Там, — ответила жена. Не глядя на мужа, она налила воды из кувшина в стакан и пошла в спальню. — Никто и подумать не мог, что дождь сегодня начнется так рано.

Полковник промолчал. Когда прозвучал горн, он поставил стрелки часов на одиннадцать, закрыл стеклянный футляр и отнес стул на место. Жена молилась, перебирая четки.

— Ты не ответила на мой вопрос, — сказал полковник.

— На какой?

— Где ты была?

— Засиделась там, у них, — ответила она. — Я столько времени не выходила из дому.

Полковник повесил гамак. Запер дверь, распылил средство от насекомых. Потом поставил лампу на пол и устроился в гамаке.

— Я тебя понимаю, — печально сказал он. — Самое худшее, когда живешь так трудно, как мы, — то, что приходится говорить неправду.

Она глубоко вздохнула.

— Я была у отца Анхеля, — сказала она. — Хотела занять у него денег под обручальные кольца.

— И что он сказал?

— Что это грех — торговать святынями.

Она говорила, опустив полог москитной сетки.

— Два дня назад я пытался продать часы, — сказал полковник.

— Они никому не нужны, потому что теперь на всех углах продаются новые, современные, со светящимся циферблатом. На них даже в темноте видно, который час.

Полковник подумал, что за сорок лет совместной жизни, совместного голода, совместных страданий он так и не узнал до конца, что за человек его жена. И любовь их состарилась тоже.

— И картина никому не нужна, — сказала она. — Почти во всех домах висит точно такая же. Я даже в турецких лавках была.

Полковник ответил с горечью:

— Ну вот, теперь все знают, что мы умираем с голоду.

— Я устала, — сказала женщина. — Мужчинам нет дела до домашних проблем. Много раз я ставила на огонь кастрюльку с камнями, чтобы соседи не узнали, что нам нечего туда положить.

Полковнику стало стыдно.

— Мы дошли до настоящего унижения, — сказал он.

Жена вылезла из-под москитной сетки и подошла к гамаку.

— А я вообще собираюсь покончить со всякими там добропорядочными манерами в нашем доме, — сказала она. Голос ее стал глухим от гнева. — Я по горло сыта смирением и достоинством.

На лице полковника не дрогнул ни один мускул.

— После каждых выборов тебе обещают райские кущи, и так уже двадцать лет, а что мы получили? Смерть сына, и больше ничего:

К такого рода упрекам полковник уже привык.

— Мы выполняем свой долг, — сказал он.

— А те, в сенате, выполняют свой за тысячу песо в месяц в течение двадцати лет, — парировала женщина.

— Взять хоть кума Сабаса — двухэтажный дом, где уже места не хватает, куда деньги складывать, а ведь он явился в город бродячим торговцем, продавал лекарства, обмотав вокруг шеи живую змею.

— Но он умирает от диабета, — сказал полковник.

— А ты умираешь от голода, — сказала жена. — И когда ты только поймешь — достоинством сыт не будешь.

В этот момент сверкнула молния. Раскаты грома послышались на улице, достигли спальни и укатились под кровать, будто куча булыжников. Женщина бросилась к mosquito net за четками.

Полковник улыбнулся.

— Это тебе предупреждение, чтобы ты не распускала язык, — сказал он. — Я тебе всегда говорил, что мы с Господом Богом — в одной партии.

Но на самом деле ему было горько. Вскоре он погасил лампу и погрузился в размышления, лежа в темноте, разрываемой вспышками молний. Он вспоминал Макондо. Десять лет он ждал, когда будут выполнены обещания Нерландского договора. В сонной одурности видел, как подъезжает желтый, покрытый ильи́ю поезд, а в нем — мужчины, женщины, домашние животные, задыхающиеся от духоты, пожитки, громоздящиеся до самой крыши вагона. Это было время банановой лихорадки. За одни сутки городок совершенно изменился. «Я уезжаю, — сказал тогда полковник. — От запаха бананов у меня сводит кишки».

И он уехал из Макондо в среду, двадцать седьмого июня одна тысяча девятьсот шестого года, в два часа и восемнадцать минут пополудни. Понадобилось прожить полвека, чтобы понять: у него не было ни минуты покоя с тех пор, как была сдана Нерландия.

Он открыл глаза.

— Что толку думать сейчас об этом, — сказал полковник.

— О чем?

— О петухе, — сказал полковник. — Завтра же утром продам его куму Сабасу за девятьсот песо.

В окно конторы доносились вопли кастрированных животных и крики дона Сабаса.

«Если он не вернется через десять минут уйду», — решил полковник после двух часов ожидания. Однако прождал еще двадцать минут. Только он собрался уйти, как дон Сабас вошел в контору; с ним несколько его работников. Дон Сабас прошел мимо полковника не один раз, но ни разу даже не взглянул на него. Только когда работники ушли, он заметил полковника.

— Вы меня ждете, кум?

— Да, кум, — сказал полковник. — Но если вы сейчас заняты, я могу прийти попозже.

Дон Сабас не дослушал его — он был уже в дверях.

— Я сейчас вернусь, — сказал он.

Полуденное солнце палило нещадно. Яркий свет с улицы заливал помещение конторы. Измученный жарой, полковник невольно закрыл глаза, и тут же перед ним возникло лицо его жены.

В комнату на цыпочках вошла жена дона Сабаса.

— Отдыхайте, кум, отдыхайте, — сказала она. — Я только хочу опустить жалюзи, а то здесь как в аду.

Полковник посмотрел на нее отсутствующим взглядом. Опустив жалюзи, она продолжала говорить в полумраке:

— Вам часто снятся сны?

— Иногда, — ответил полковник, сконфуженный тем, что уснул. — Я почти всегда вижу, как меня опутывает паутина.

— А у меня что ни ночь, то кошмары, — сказала женщина. — Хотела бы я знать, кто все эти люди, которых видишь во сне.

Она включила электрический вентилятор.

— На прошлой неделе я видела женщину, которая стояла у изголовья моей кровати, — сказала она. — Я набралась смелости и спросила, кто она, и она

ответила: я умерла в этой комнате двенадцать лет назад.

— Этому дому нет и двух лет, — сказал полковник.

— Вот именно — получается, что и мертвецы могут ошибаться.

Жужжание вентилятора сгущало сумрак. Полковник чувствовал себя неважно — его измучили жара и болтовня женщины, которая перешла от снов к таинству реинкарнации.

Он ждал паузы, чтобы попрощаться, но тут в контору вошел дон Сабас в сопровождении управляющего.

— Я четыре раза подогрела тебе суп, — сказала женщина.

— Подогревай хоть десять, если тебе нравится, — сказал дон Сабас. — Только отстань сейчас от меня.

Он открыл сейф и дал управляющему пачку денег, на ходу что-то говоря.

Управляющий приподнял жалюзи и стал пересчитывать деньги. Дон Сабас видел, что в глубине комнаты сидит полковник, но не обращал на него ни малейшего внимания. Он продолжал разговаривать с управляющим. Полковник привстал, видя, что оба они снова собираются уходить.

В дверях дон Сабас задержался.

— У вас ко мне какое-то дело, кум?

Полковник чувствовал, что управляющий смотрит на него.

— Ничего особенного, кум, — сказал он. — Просто хотел поговорить с вами.

— Так говорите сейчас, — сказал дон Сабас. — У меня нет ни одной лишней минуты.

Он стоял в позе нетерпеливого ожидания, держась за ручку двери. Полковник пережил пять самых длинных секунд в своей жизни. Стиснул зубы.

— Я насчет петуха, — прошептал он.

Тут дон Сабас открыл дверь.

— Насчет петуха, — повторил он улыбаясь и подтолкнул управляющего к выходу. — Мир может рушиться, а мой кум только и знает, что о петухе. — И добавил, обращаясь к полковнику: — Ладно, кум. Я сейчас вернусь.

Полковник неподвижно стоял посреди конторы до тех пор, пока не затихли шаги мужчин по коридору. После чего вышел побродить по городку, погруженному в воскресную сиесту. В портняжной мастерской никого не было. Амбулатория была закрыта. Никто не смотрел за товаром, выставленным в лавках сирийцев. Река была похожа на стальную пластину.

Какой-то человек спал в порту на составленных вместе четырех бочках с нефтью, прикрыв шляпой лицо от солнца. Полковник направился домой в уверенности, что он — единственный живой человек в этом городке.

Жена ждала его с обедом.

— Я взяла это все под честное слово и обещала принести деньги завтра утром, — объяснила она.

Пока они ели, полковник рассказал ей о своих злоключениях последних трех часов. Жена едва дослушала его.

— Все дело в том, что ты бесхарактерный человек, — сказала она. — Ты ведешь себя так, будто пришел просить милостыню, а ты должен прийти к нему с поднятой головой, отозвать кума в сторонку и так прямо и сказать ему: «Кум, я решил продать вам петуха».

— Не все так просто в этой жизни, — сказал полковник.

Жена в тот день без передышки хлопотала по хозяйству. Утром она убиралась в доме и была одета не так, как всегда, — на ней были ботинки мужа, клеенчатый передник, волосы повязаны старым платком с двумя узлами за ушами.

— Ты совершенно не приспособлен к делам, — сказала она. — Когда что-то продаешь, надо это делать с таким лицом, будто что-то покупаешь.

Полковнику ее вид показался забавным.

— Ходи всегда как сейчас, — перебил он ее улыбаясь. — В таком виде ты похожа на человечка с рекламы овсянки.

Она сняла с головы платок.

— Я тебе серьезно говорю, — сказала она. — Я сейчас же снесу куму петуха, и можешь быть уверен — через полчаса я вернусь с деньгами.

— Тебе девятьсот песо в голову ударили, — сказал полковник. — Заранее ставишь на петуха.

Ему стоило большого труда отговорить ее. Все утро она подсчитывала: на эти деньги можно будет прожить три года без мучительного ожидания пятниц. Она еще раз прибралась в доме, чтобы он выглядел достойным таких денег. Сделала список самых необходимых покупок, не забыв о новых ботинках для мужа. Присмотрела в спальне место, куда повесить зеркало. Мысль о том, что все ее планы могут рухнуть, вызвала в ней смешанное чувство стыда и досады.

Потом она ненадолго прилегла. Когда она встала, полковник был в патио.

— А сейчас что ты делаешь? — спросила она.

— Думаю, — ответил полковник.

— Тогда проблема решена. Не пройдет и пятидесяти лет, как мы получим эти деньги.

Однако в действительности полковник решил продать петуха сегодня вечером. Он представлял себе, как дон Сабас сидит один у себя в конторе около электрического вентилятора и готовится к ежедневному уколу. Он заранее прикидывал, что тот ему скажет.

— Возьми с собой петуха, — посоветовала ему жена, выходя в патио. — Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Полковник отказался. Она проводила его до дверей, чувствуя тревогу и отчаяние.

— Пусть у него в конторе будет хоть целая толпа, — сказала она. — Ты возьмешь его под руку и не отпустишь до тех пор, пока он не даст тебе девятьсот песо.

— Можно подумать, мы готовимся к штурму.

Она не обратила внимания на его слова.

— Помни, что хозяин петуха — это ты, — убеждала она. — И стало быть, это ты делаешь одолжение.

— Ладно.

Дон Сабас сидел в спальне с врачом.

— Попробуйте счастья сейчас, кум, — сказала полковнику жена дона Сабаса. — Они с доктором говорят о том, что ему делать в ближайшую неделю, так как он уезжает в имение и вернется не раньше четверга.

Полковник разрывался между двумя противоречивыми чувствами: с одной стороны, он твердо решил продать петуха сейчас же, с другой — предпочел бы прийти часом позже, чтобы уже не застать дон Сабаса дома.

— Я могу и подождать, — сказал он.

Но женщина не отставала. Она провела его в спальню, где ее муж сидел на кровати, похожей на трон, уставившись на врача бесцветными глазами: Полковник дождался, пока врач поднял к свету стеклянную пробирку с мочой пациента, понюхал ее и одобрительно кивнул дону Сабасу.

— Его надо расстрелять, — сказал врач, обращаясь к полковнику. — Диабет слишком долгая болезнь — так нам никогда не покончить с богачами.

— Вы уже почти добились этого своими инсулиновыми инъекциями, — сказал дон Сабас и подпрыгнул на дряблых ягодицах. — Но я крепкий орешек, не на такого напали. — И добавил, обращаясь к полковнику: — Проходите, кум. Я сегодня утром пошел было вас искать, но даже шляпы вашей не увидел.

— Я не ношу шляпу, чтобы ни перед кем не снимать ее.

Дон Сабас принялся одеваться. Врач положил в карман пиджака стеклянную пробирку с анализом крови. Потом навел порядок у себя в саквояже. Полковник подумал, что врач, должно быть, собирается уходить.

— На вашем месте, доктор, я бы выставил моему куму счет на сто тысяч песо, — ответил полковник. — Дел у него сразу поубавится.

— Я уже предлагал ему сделку, только на миллион, — ответил врач. — Бедность — лучшее лекарство от диабета.

— Спасибо за рецепт, — сказал дон Сабас, пытаясь всунуть свой обширный живот в штаны для верховой езды. — Но я ему не последую, чтобы уберечь вас от несчастья стать богатым.

Врач сверкнул ослепительной улыбкой, отразившейся в никелированной застежке саквояжа. Потом взглянул на часы без всякого нетерпения. Дон Сабас начал надевать сапоги и неожиданно обратился к полковнику:

— Да, кум, так что там такое с петухом?

Полковник заметил, что и врача интересуется его ответ. Он стиснул зубы.

— Ничего особенного, кум, — прошептал он. — Просто я пришел продать его.

Дон Сабас закончил надевать сапоги.

— Отлично, кум, — сказал он без всякого выражения. — Это самое разумное, что можно придумать.

— Стар я уже, — оправдывался полковник, глядя в непроницаемое лицо врача. — Лет двадцать назад все было бы по-другому.

— Вы всегда будете казаться на двадцать лет моложе, — ответил ему доктор.

Полковник перевел дух. Подождет, не скажет ли дон Сабас еще что-нибудь, но тот молчал. Надел куртку с застежкой-молнией и собрался уходить.

— Если хотите, кум, мы можем поговорить об этом на следующей неделе, — сказал полковник.

— Я как раз и собирался вам это предложить, — сказал дон Сабас. — У меня есть кое-кто на примете, кто даст за него четыреста песо. Но давайте подождем до четверга.

— Сколько?

— Четыреста песо.

— Я слышал, он стоит гораздо дороже, — сказал доктор.

— Вы мне говорили про девятьсот песо, — сказал полковник, почувствовав поддержку в словах врача. — Это лучший петух во всем департаменте.

Дон Сабас ответил, обращаясь к врачу.

— В другие времена за него любой бы дал тысячу, — объяснил он. — Но сейчас никто не отважится выпустить на бои хорошего петуха. Всегда есть риск получить пулю на гальере. — Он обернулся к полковнику с подчеркнутым сожалением: — Вот что я хотел вам сказать, кум.

Полковник кивнул:

— Пусть так.

Все они собрались уходить. Врач задержался в гостиной — его позвала жена дона Сабаса, чтобы спросить, не знает ли он какого-нибудь средства «против чего-то такого, что вдруг возникает, но

непонятно где». Полковник подождал его в конторе. Дон Сабас открыл сейф, набил деньгами все карманы и протянул несколько банкнотов полковнику.

— Вот вам шестьдесят песо, кум, — сказал он. — Продадите петуха — вернете.

Полковник вместе с врачом пошел через торговый район городка, который начинал оживать с наступлением вечерней прохлады. Баркас, груженный сахарным тростником, плыл вниз по реке. Полковнику показалось, что врач, против обыкновения, молчалив.

— А вы-то сами как, доктор?

Врач пожал плечами.

— Как обычно, — сказал он. — Думаю, и мне было бы не лишним показаться врачу.

— Это все зима, — сказал полковник. — У меня внутри тоже все разладилось.

Врач внимательно посмотрел на него, но в его взгляде не было профессионального интереса. Потом он поприветствовал сирийских торговцев, которые сидели у дверей своих лавочек. Когда подошли к амбулатории, полковник счел своим долгом объяснить, почему он все-таки решил продать петуха.

— У меня нет другого выхода, — сказал он. — Это животное питается человеческим мясом.

— Единственное животное, которое питается человеческим мясом, — это дон Сабас, — сказал врач. — Уверен, он перепродает петуха за девятьсот песо.

— Вы думаете?

— Уверен, — сказал врач. — Дельце сработано так же чисто, как его пресловутое соглашение с алькальдом.

Полковник отказывался в это верить.

— Кум пошел на это, чтобы спасти свою шкуру, — сказал он. — Только так он мог остаться в городе.

— И только так он мог скупить половину имущества своих товарищей по партии, которых алькальд выслал из города, — откликнулся врач.

Он не нашел в карманах ключа и постучал в дверь. Потом снова обратился к полковнику, который все еще не мог поверить в то, что услышал.

— Не будьте наивным, — сказал он. — Деньги интересуют дона Сабаса гораздо больше, чем собственная шкура.

Этим же вечером жена полковника отправилась за покупками. Провожая ее в лавку сирийцев, полковник все еще обдумывал сказанное врачом.

— Сейчас же походи к ребятам и скажи им, что петух продан, — решительным тоном заявила жена. — Пусть не надеются понапрасну.

— Петух не будет продан до тех пор, пока не придет дон Сабас, — ответил полковник.

Он нашел Альваро в бильярдной — тот играл в рулетку. Был воскресный вечер, и заведение бурлило. Из-за радио, которое орало во всю мочь, жара казалась еще более невыносимой. Внимание полковника привлекли яркие цифры на черной клеенке, покрывавшей большой стол, и освещенные керосиновой лампой, стоявшей на ящике посреди стола. Альваро проигрывал, но продолжал упорно ставить на двадцать три. Следя за игрой через его плечо, полковник заметил, что четыре раза из девяти выпало одиннадцать.

— Поставь на одиннадцать, — сказал он Альваро на ухо. — Это число выпадает чаще других.

Альваро внимательно оглядел цифры на клеенке. Следующий кон он пропустил. Достал из кармана брюк деньги и вместе с ними какой-то листок бумаги. И передал его полковнику под столом.

— Это написал Агустин, — сказал он.

Полковник спрятал листовку в карман. Альваро сделал крупную ставку на одиннадцать.

— Начинай понемногу, — сказал ему полковник.

— У вас, видно, хорошее предчувствие, — отозвался Альваро.

Еще несколько игроков сняли ставки с других номеров и поставили на одиннадцать, когда большое разноцветное колесо уже стало вращаться. У полковника сжалось сердце. Впервые в жизни он переживал все прелести азарта, его очарование и его горечь.

Выпало пять.

— Сожалею, — сказал полковник смущенно и с чувством непоправимой вины смотрел, как деревян-

ные грабельки утаскивают деньги Альваро. — Так мне и надо, не лезь куда не просят.

Альваро улыбнулся, не глядя на него.

— Не переживайте, полковник. Значит, повезет в любви.

Неожиданно звуки мамбы прекратились. Все игроки подняли руки вверх. Полковник услышал у себя за спиной сухой щелкающий звук взведенного курка. Тут до него дошло, что он самым нелепым образом попал в полицейскую облаву, с нелегальной листовкой в кармане. Обернулся, не поднимая рук. И тут впервые в жизни полковник совсем близко увидел человека, который застрелил его сына. Сейчас этот человек стоял прямо перед ним, наставив дуло ружья ему в живот. Он был маленький, с индейскими чертами лица и обветренной кожей, и пахло от него, как от ребенка. Полковник стиснул зубы и кончиком пальца спокойно отвел дуло ружья.

— Позвольте, — сказал он.

На него смотрели маленькие круглые глаза летучей мыши. В одну секунду эти глаза проглотили его, пережевали, переварили и выплюнули.

— Проходите, полковник.

Не надо было открывать окно, чтобы понять: наступил декабрь. Полковник почувствовал это каждой косточкой еще в кухне, когда нарезал фрукты на завтрак петуху. Потом он открыл дверь, и то, что увидел в патио, подтвердило его ощущения. Патио выглядел чудесно: трава, деревья и деревянная будочка туалета — все будто парило в ясном воздухе, в миллиметре над землей.

Жена лежала в постели до девяти утра. Когда она вошла в кухню, полковник уже прибрался в доме и разговаривал с детьми, что окружали петуха. Жене пришлось, чтобы пробраться к плите, обходить их.

— Отойдите в сторонку, — прикрикнула она на них. Мрачно посмотрела на петуха. — Не чаю избавиться от этой злосчастной птицы.

Полковник внимательно посмотрел на петуха, пытаюсь понять причину раздражения жены. В пе-

тухе не было ничего такого, что могло бы ее разозлить. Он был готов к тренировочным боям. Шея и ноги у него были облезлые, сизого цвета, гребень рваный, а общий вид невзрачный и какой-то беззащитный.

— Выгляни в окно и забудь о петухе, — сказал полковник, когда дети ушли. — Такое утро хочется сфотографировать.

Она выглянула в окно, но на лице у нее не отразилось никаких чувств.

— Мне бы хотелось посадить розы, — сказала она, вернувшись к плите.

Полковник, собираясь бриться, повесил зеркало.

— Хочешь посадить розы, так и посади, — сказал он.

Его движения в точности совпадали с движениями жены, которую он видел в зеркале.

— Их съедят свиньи, — сказала она.

— Тем лучше, — ответил полковник. — Отличные будут свиньи, если кормить их розами.

Он посмотрел в зеркало на жену и увидел, что выражение ее лица не изменилось. В отблесках огня ее лицо казалось вылепленным из той же глины, что и печь. Сам того не замечая, он брился наугад, как это делал уже многие годы, поскольку взгляд его был прикован к жене.

Женщина молчала, погруженная в глубокие раздумья.

— Потому я и не хочу их сажать, — сказала она.

— Ладно, — ответил полковник. — Тогда не сажай.

Он чувствовал себя хорошо. Растительность у него в кишках от декабрьской погоды завяла. Правда, утром случилась неприятность, когда он пытался надеть новые ботинки. После нескольких бесплодных попыток понял, что это бесполезно, и надел лакированные. Жена это заметила.

— Если ты не будешь надевать новые, ты их никогда не разносишь, — сказала она.

— Это ботинки для паралитиков, — возразил полковник. — Ботинки надо продавать после того, как их месяц разношивали.

Он вышел из дома, воодушевленный предчувствием, что сегодня он обязательно получит письмо.

Поскольку встречать катер было еще рано, он решил подождать донна Сабаса у него в конторе. Но там ему сказали, что хозяин будет не раньше понедельника. Он решил не отчаиваться, несмотря на то что не рассчитывал на такую отсрочку. «Рано или поздно он все равно придет», — подумал он и направился к пристани — погода была прекрасная, утро сияло нетронутой свежестью.

— Вот бы весь год стоял декабрь, — прошептал полковник, сидя в магазинчике сирийца Моисея. — Чувствуешь себя так, будто и сам прозрачный.

Сириец Моисей с трудом перевел эту мысль на арабский, который он почти забыл.

Это был человек типично восточной внешности, туго обтянутой гладкой кожей, с медлительными движениями утопленника. Казалось, его действительно только что вытащили из воды.

— В библейские времена так и было, — сказал он. — Значит, сейчас мне было бы восемьсот девяносто семь лет. А тебе?

— Семьдесят пять, — сказал полковник, не отрывая взгляда от почтового инспектора.

Только сейчас полковник увидел, что приехал цирк. Он узнал золотанный шатер на палубе катера, среди других разноцветных тентов. На секунду отвел взгляд от инспектора и стал выматривать зверей среди нагромождения каких-то ящиков на других катерах. Но зверей не было.

— Цирк приехал, — сказал он. — Первый раз за последние десять лет.

Сириец Моисей сам удостоверился, что это так. И стал что-то говорить жене на смеси арабского с испанским. Она отвечала ему из глубины помещения. Сириец проговорил что-то самому себе и потом перевел полковнику то, что вызвало его беспокойность.

— Спрячьте котят, полковник. Мальчишки украдут его, чтобы продать в цирк.

Полковник уже снова следил за почтовым инспектором.

— В этом цирке нет зверей, — сказал он.

— Не важно, — ответил сириец. — Канатоходцы едят кошек, чтобы не переломать себе кости.

Полковник шел за инспектором по торговой улице до самой площади. Там он услышал громкие крики, доносившиеся с галеры. Кто-то на ходу спросил его о петухе. Только тогда он вспомнил, что в этот день начинались тренировочные бои.

Почту он обошел стороной. И вскоре оказался среди бушующих страстей галеры.

В центре арены стоял его петух — одинокий и беззащитный, шпоры у него были обмотаны тряпками, а очевидный испуг выдавали дрожащие ноги. Противником его был печальный петух пепельного цвета.

Полковник не чувствовал никакого волнения. Последовало несколько взаимных наскоков. Клубок из перьев, ног и шей, среди бурных оваций. Ударяясь о доски барьера, противник кувыркался через голову и снова бросался в атаку. Петух полковника не атаковал.

Он отбивал наскоки пепельного петуха и возвращался точно на то же место. Теперь ноги у него не дрожали.

Херман перепрыгнул через барьер, взял его на руки и показал зрителям.

Раздался мощный взрыв аплодисментов и криков. Полковник обратил внимание на несоответствие между громом оваций и невзрачностью зрелища. Все происходящее показалось ему фарсом, в котором — добровольно и сознательно — участвуют и петухи.

Он обвел взглядом круглую галерею, испытывая несколько презрительное любопытство. Возбужденная толпа бросилась вниз по ступеням галереи на арену. Полковник разглядывал скопище лиц — раскрасневшихся, напряженных, охваченных яростной надеждой.

Это были новые люди. Раньше их в городке не было. Он снова пережил — будто озарение — момент из давнего прошлого, уже исчезнувшего с горизонта его памяти. Он перешагнул через барьер, проложил себе дорогу в толпе и тут увидел спокойные глаза Хермана. Они посмотрели друг на друга не мигая.

— Добрый вечер, полковник.

Полковник взял у него петуха.

— Добрый вечер, — пробормотал он.

И больше ничего не сказал, потому что ему передалась горячая и сильная дрожь птицы. Он подумал, что никогда не держал на руках ничего более живого, чем этот петух.

— Вас не было дома, — сказал Херман, оправдываясь.

Раздался новый взрыв оваций: Полковнику стало не по себе. Он снова проложил дорогу в толпе и, не глядя ни на кого, оглушенный аплодисментами и криками, вышел наконец на улицу с петухом под мышкой.

Весь городок — жители бедных кварталов — высыпал на улицу, когда он, сопровождаемый мальчишками, проходил мимо. На площади огромный негр, обмотав змею вокруг шеи, прямо со столика продавал нелегализованные лекарства. Вокруг него собралось довольно много народу: люди возвращались из порта и останавливались послушать его зазывания. Но когда появился полковник с петухом под мышкой, все внимание переместилось на него. Никогда еще дорога домой не казалась полковнику такой длинной.

Однако полковник об этом не жалел. Много лет городок жил в какой-то сонной одуре, бесполезно растратив десять лет своей истории. В этот день — еще одна пятница без письма — люди пробудились от спячки. Полковник вспомнил другие времена. Он увидел себя вместе с женой и сыном, как они сидели и смотрели кино под зонтом и досмотрели до конца, несмотря на дождь. Вспомнил партийных руководителей, тщательно причесанных, как они обмахиваются веерами в такт музыке, сидя в патио его дома. Он явственно почувствовал, как барабанная дробь мучительной болью отзывается у него внутри.

Он пересек улицу, параллельную реке, но и там увидел бурлящую толпу, как в далекие времена выборов. Все смотрели, как разгружается цирк. Какая-то женщина из глубины своей лавки крикнула ему что-то о петухе. Но он был погружен в себя, прислушиваясь к голосам прошлого, которые смешались со звуками оваций на галерее, услышанных им сегодня.

В дверях своего дома он обернулся к мальчишкам.

— А ну-ка по домам! — сказал он. — А то возьму ремень.

Он запер дверь на засов и прошел прямо в кухню. Жена вышла из спальни, задыхаясь.

— Они забрали его, — проговорила она. — Я сказала им, что петух не покинет стены этого дома, пока я жива.

Полковник привязал петуха к ножке плиты. Поменял петуху воду в миске, но жена раздраженно продолжала говорить.

— Они сказали, что унесут его даже через мой труп, — сказала она. — Что петух, мол, не наш, а принадлежит всему городу.

Только покончив с делами, полковник решился взглянуть в растерянное лицо жены.

И с удивлением понял, что она не вызывает в нем ни угрызений совести, ни сострадания.

— Правильно сделали, — спокойно сказал он. И, проверив содержимое своих карманов, добавил с какой-то особенной нежностью: — Петух не продается.

Она пошла за ним в спальню. Полковник был вроде таким же, как всегда, и в то же время далеким, будто она видела его на экране кино.

Полковник вытащил из шкафа деньги, прибавил к ним те, что были в карманах, сосчитал всю сумму и убрал деньги в шкаф.

— Здесь двадцать девять песо, их надо вернуть куму Сабасу, — сказал он. — Остальное отдадим, когда придет пенсия.

— А если не придет?

— Придет.

— Ну а если все-таки нет?

— Значит, не отдадим.

Под кроватью он отыскал свои новые ботинки. Вынул из шкафа картонную коробку, вытер подошвы тряпочкой и положил ботинки в коробку, точно так, как они лежали, когда жена принесла их в воскресенье вечером. Жена не пошевелилась.

— Ботинки надо вернуть, — сказал полковник. — Еще тринадцать песо для кума.

— Их не возьмут, — сказала она.

— Должны взять, — ответил полковник. — Я надевал их всего два раза.

— Турки этого не понимают, — сказала жена.

— Должны понимать.

— А они не понимают.

— Ну и пусть не понимают.

Они легли спать без ужина. Полковник ждал, когда жена закончит перебирать четки, чтобы погасить лампу. Но он никак не мог уснуть. Слышал колокол киноцензуры и почти вслед за этим — на самом деле прошло три часа — горн комендантского часа. Хриплое дыхание жены в холодном предрассветном воздухе стало еще более затрудненным. Полковник так и не сомкнул глаз до того момента, пока она не заговорила с ним уже спокойно и примирительно.

— Ты не спишь?

— Нет.

— Пойми же ты наконец, — сказала жена. — Поговори завтра с кумом Сабасом.

— Его не будет раньше понедельника.

— Тем лучше, — сказала женщина. — У тебя еще три дня, чтобы все обдумать.

— Мне больше нечего обдумывать, — ответил полковник.

Липкий воздух октября сменился декабрьской свежестью. Декабрь был узнаваем еще и потому, что выпь теперь кричала в другое время. Когда пробило два часа, полковник все еще не спал. Зная, что жена тоже не спит. Он заворочался в гамаке.

— Не спишь? — спросила жена.

— Нет.

Она немного помолчала.

— Для нас это непозволительная роскошь, — сказала она. — Ты только представь, что такое для нас четыреста песо!

— До прихода пенсии осталось совсем немного, — сказал полковник.

— Ты повторяешь это вот уже пятнадцать лет.

— Именно поэтому, — сказал полковник. — Значит, осталось уже совсем немного.

Она умолкла. А когда заговорила снова, полковнику показалось, что время стоит на месте.

— По-моему, твои деньги никогда не придут.

— Придут.

— А если не придут?

Полковник решил не отвечать. Запел петух, и это вернуло его к действительности, но затем он погрузился в сон, глубокий, не потревоженный угрызениями совести. Когда проснулся, солнце стояло уже высоко. Жена еще спала. Полковник проделал все то, что и обычно делал каждое утро, и стал ждать, когда проснется жена, чтобы позавтракать.

Она появилась в кухне с непроницаемым лицом. Кроме пожелания друг другу доброго утра, за завтраком они не обмолвились ни словом. Полковник выпил черный кофе и съел кусочек сыра со сладкой булочкой. Все утро он провел в портняжной мастерской. В час дня вернулся домой и застал жену за пачаньем одежды — она сидела среди бегоний.

— Пора обедать, — сказал он.

—обеда нет, — ответила женщина.

Он пожал плечами. Старательно заделал дырки в изгороди патио, чтобы мальчишки не лазали в кухню. Когда он вернулся в дом, стол был накрыт.

За обедом он увидел: жена делает огромные усилия, чтобы не заплакать. Это его встревожило. Он знал характер своей жены, и так-то достаточно суровый, но ставший еще тверже за сорок лет горечи. Когда умер их сын, она не уронила ни слезинки.

Он с упрямством посмотрел ей прямо в глаза. Она прикусила губу, вытерла уголки глаз рукавом и снова принялась есть.

— Тебе на меня наплевать, — сказала она.

Полковник промолчал.

— Ты капризный, упрямый, и тебе на меня наплевать, — повторила она. Сложила нож и вилку крест-накрест на тарелке, но тут же суеверно вернула их на прежнее место. — Всю жизнь быть с тобой, а сейчас значить для тебя меньше, чем петух!

— Это разные вещи, — сказал полковник.

— Нет, не разные, — ответила женщина. — Можешь ты, наконец, понять, что я умираю, что это не просто болезнь, а агония?

Полковник не произнес ни слова, пока не закончил обедать.

— Если доктор даст мне гарантию, что продажа петуха вылечит тебя от астмы, я продам его тут же, — сказал он. — Но если нет, тогда нет.

В тот день он понес петуха на галерею. Когда вернулся, у жены начинался приступ.

Она ходила туда-сюда по коридору, простоволо-сая, раскинув руки, и хватала ртом воздух, который со свистом проникал в легкие. И так до самого вечера. Потом она легла, не сказав мужу ни слова.

После комендантского часа она все еще бормо-тала молитвы. Полковник решил наконец погасить лампу. Но жена воспротивилась.

— Я не хочу умереть в темноте, — сказала она.

Полковник снова поставил лампу на пол. Он чувствовал себя вымотанным. Ему хотелось забыть обо всем, проспять сорок четыре дня кряду и про-снуться двадцатого января в три часа дня на галере, как раз в тот момент, когда надо будет выпускать петуха. Но жена не спала, и поэтому ему тоже не удавалось уснуть.

— Вечная история, — начала она снова. — Мы умираем с голоду, чтобы другие ели досыта. И так все сорок лет.

Полковник молчал до тех пор, пока жена не спроси-ла, не спит ли он. Тогда он ответил, что да, спит. Жен-щина продолжала ровным голосом, неумолимая, будто течение реки.

— Все наживутся на этом петухе, кроме нас. Мы единственные, у кого нет ни сентаво, чтобы на него поставить.

— Хозяин петуха имеет право на двадцать про-центов.

— Ты имел право и на должность, когда с тебя дра-ли три шкуры во время выборов, — возразила жена. — Ты имеешь право на пенсию ветерана после того, как рисковал своей шкурой во время гражданской войны. Теперь у всех жизнь устроена, а ты совершенно один и умираешь с голоду.

— Я не один, — сказал полковник.

Он хотел еще что-то добавить, но его сморил сон. Жена продолжала приглушенно говорить, пока не поняла, что муж уже спит. Тогда она выбралась из-под москитника и в темноте прошла в гостиную.

И там продолжала говорить. Полковник окликнул ее, когда уже светало.

Она появилась в дверях, похожая на привидение, освещенная снизу едва горевшей лампой. Прежде чем забраться под москитную сетку, погасила ее. И продолжала говорить.

— Давай сделаем одну вещь, — перебил ее полковник.

— Единственное, что мы можем сделать, — это продать петуха, — сказала жена.

— Мы можем продать часы.

— Их никто не купит.

— Завтра попробую продать их дону Альваро за сорок песо.

— Он их не даст.

— Тогда продадим картину.

Жена встала с постели и снова заговорила. Полковник чувствовал ее дыхание, смешанное с запахом лекарственных трав.

— Ее никто не купит.

— Посмотрим, — примирительно сказал полковник, стараясь, чтобы его голос звучал как можно спокойнее. — А сейчас спи. Если завтра ничего не удастся продать, тогда и подумаем, что делать.

Он попытался полежать немного с открытыми глазами, но тут же уснул. Провалился куда-то, где нет ни времени, ни пространства и где слова его жены имели совершенно иной смысл. Но вскоре почувствовал, что его трясут за плечо.

— Ответь мне.

Полковник сразу и не понял, слышал ли он этот голос до сна или после. Светало. В окне виднелась чистая зелень воскресного утра. Ему казалось: его лихорадит. Веки горели, он с трудом собрался с мыслями.

— Что мы будем делать, если ничего не удастся продать? — снова завела жена все ту же песню.

— Тогда уже будет двадцатое января, — сказал полковник, полностью очнувшись. — Двадцать процентов выплачивают в тот же день.

— Если петух выигрывает, — сказала жена. — А если проиграет? Тебе не приходило в голову, что он может проиграть?

— Этот петух не может проиграть.

— А ты представь, что проиграет.

— Об этом надо будет думать еще только через сорок пять дней, — сказал полковник.

Жена пришла в отчаяние.

— И что мы будем есть все это время? — спросила она и, схватив полковника за ворот рубашки, с силой тряхнула его. — Скажи, что мы будем есть?

Полковнику потребовалось прожить семьдесят пять лет — семьдесят пять лет своей жизни, минута в минуту, чтобы дожить до этого мгновения. Он почувствовал себя непобедимым, когда четко и ясно произнес в ответ:

— Дерьмо.

РАССКАЗЫ

(1947—1972)

ТРЕТЬЕ СМИРЕНИЕ

Там снова послышался этот шум. Звуки были резкие, отрывистые, надоедливые, уже узнаваемые; но сейчас они вызывали острое, мучительное ощущение, — видимо, за эти дни он от них отвык.

Они гулко отдавались в голове — глухие, болезненные. Казалось, череп у него заполняется сотами. Они вырастали, закручиваясь восходящими спиралями, и ударили его изнутри, заставляя вибрировать верхушки позвонков в нервном, неустойчивом ритме, в каком вибрировало и все тело. Что-то разладилось в устройстве его крепкого человеческого организма: что-то действовавшее *до того* нормальным образом — и теперь стучало у него в голове сухими, жесткими ударами молотка, чья-то рука, лишенная плоти, как у скелета, ударяла по черепу, и это заставляло его вспоминать самые горькие в жизни минуты. Подсознательным движением он сжал кулаки и поднес их к голубовато-фиолетовым артериям на висках, стараясь раздавить невыносимую боль. Ему хотелось взять в руки и ощутить ладонями этот шум, который дырявил его сознание острием алмазной иглы. Мускулы его напряглись, словно у кота, стоило ему только представить себе, как он преследует его, этот шум, в самых чувствительных участках воспаленного мозга, попавшего в лапы лихорадки. Вот он уже настиг его. Нет. Шкура у этого шума скользкая, почти неосязаемая. Но он все-таки доберется до него благодаря хорошо продуманным приемам и будет долго, до самого конца, сжимать его изо всех сил своего отчаяния. Он не позволит ему больше проникать в его слух; пусть он выйдет у него изо рта, через каждую пору кожи, из глаз, которые вылезут из орбит и ослепнут, следя за тем, как шум этот выходит из глубин охваченного лихорадкой мрака. Он не позволит, чтобы тот выдавливал из него осколки кристалликов, сверкающие снежинки на внутренних стенках черепа. Вот какой это был шум: нескончаемый, и такой, будто

ребенка ударили головой о каменную стену. Когда резко ударяют чем-нибудь о твердую поверхность природных образований. Шум перестанет его мучить, если окружить его, изолировать. Отрезать и отрезать по куску от его собственной тени. И схватить. Сжать его, теперь уже наверняка; изо всех сил швырнуть на пол и яростно топтать до тех пор, пока он уже действительно не сможет пошевелиться; и тогда скажет, задыхаясь, что он убил шум, который мучил его, который сводил с ума и который теперь валяется на полу, как самая обычная вещь, — превратившись в остывшего покойника.

Но ему никак было не сжать виски. Руки стали короткими, словно у карлика, — маленькие, толстые, жинные руки. Он попробовал встряхнуть головой. Встряхнул. Шум в голове возник с новой силой, он становился все более жестким, усиливался и тяжелел от собственной силы. Он был жесткий и тяжелый. Такой жесткий и такой тяжелый, что, когда настигнешь его и уничтожишь, будет казаться, что оборвал лепестки свинцового цветка.

Он слышал этот шум с той же настойчивостью и раньше. Например, когда умер первый раз. Когда — перед тем как увидеть труп — понял: этот труп — его собственный. Он осмотрел его и потрогал. Тело оказалось неосязаемым, неосяжимым, несуществующим. Он действительно стал трупом и уже чувствовал, как его тело, молодое и пораженное болезнью, заполняет смерть. Воздух во всем доме сгустился, будто пропитался цементом, а внутри этой густоты — там, где предметы оставались такими же, будто это все еще был обычный воздух, — внутри был он, заботливо упрятанный в гроб из твердого, но прозрачного цемента. В тот раз в голове у него и возник *этот самый шум*. Какими чужими и холодными казались ему стопы его ног; там, на другом конце гроба, лежала подушка, потому что ящик был великоват для него и надо было подогнать по росту, приладить к мертвому телу эту новую и последнюю его одежду. Его покрыли белым покрывалом и подвязали челюсть платком. Он казался себе очень красивым в этом саване, *смертельно красивым*.

Он лежал в гробу, готовый к погребению, и, однако, знал, что не умер. И если бы он попытался встать, ему удалось бы это без труда. По крайней мере *мысленно*. Но делать этого не стоило. Уж лучше умереть там, умереть от *смерти*, которой, в сущности, и была его болезнь. Когда-то врач сухо сказал его матери:

— Сеньора, ваш ребенок тяжело болен — все равно что мертв. Однако, — продолжал он, — мы сделаем все возможное, чтобы продлить ему жизнь и оттянуть смерть. Благодаря комплексной системе самонасыщения мы добьемся продолжения органических функций. Изменяются только двигательные функции, будут затруднены одновременные движения. О том, что он жив, мы будем знать по его росту, — расти он будет обычным порядком, это просто — *напросто смерть заживо*. Подлинная, действительная смерть...

Он помнил эти слова, хотя и смутно. А может, он никогда их не слышал и они были измышлением его мозга, когда поднялась температура во время кризиса тифозной горячки.

Когда он утонул в бреду. Когда читал истории о набальзамированных фараонах. Когда поднималась температура, он чувствовал себя ее протагонистом. Тогда и началось что-то вроде пустоты, из которой состояла его жизнь. С тех пор он перестал различать, какие события случились на самом деле, а какие ему пригрезились. Поэтому он и сомневался сейчас. Может быть, врач никогда и не говорил об этой странной *смерти заживо*. Ведь это алогично, парадоксально, это просто противоречит само себе. И это заставляет его подозревать, что он на самом деле умер. Вот уже восемнадцать лет, как это произошло.

Тогда — ему было семь лет, когда он умер — его мать заказала для него маленький гроб из свежеспеленной древесины, гроб для ребенка, но врач велел сделать ящик побольше, как для нормального взрослого, а то этот, маленький, мог бы замедлить рост, и в результате получился бы деформированный мертвец или живой урод. Или из-за того, что задержится рост, нельзя будет заметить улучшение. Учитывая подобное развитие событий, мать заказала большой гроб,

как для умершего подростка, и положила в ноги три подушки, чтобы гроб был впору.

Вскоре он начал расти внутри ящика, да так, что каждый год нужно было понемногу вынимать перья из подушки, лежавшей к нему ближе всех, чтобы освободить место. Так прошла половина жизни. Восемнадцать лет. (Теперь ему было двадцать пять.) Он дорос до своих окончательных, нормальных размеров. Столяр и врач ошиблись в расчетах, и гроб получился на полметра больше, чем нужно. Они думали, что он будет такого же роста, как его отец, который был похож на первобытного гиганта. Но он таким не стал. Единственное, что он унаследовал от отца, — это бороду «лопатой». Пепельную густую бороду, которую приводила в порядок его мать, чтобы он выглядел в гробу достойно. Борода ужасно мешала ему в жаркие дни.

Но было еще кое-что, беспокоившее его больше, чем *этот шум!* Это были крысы. Особенно когда он был ребенком, ничто так не мучило его и не приводило в такой ужас, как крысы. Именно эти мерзкие животные сбегались на запах горящих свечей, которые ставили у него в ноги. Они обглаживали его одежду, и он знал, что очень скоро они возьмутся за него самого и начнут глотать его плоть. Однажды ему удалось их увидеть: пять крыс, скользких и блестящих, забрались в гроб, вскарабкавшись по ножке стола, и сожрали его. Когда мать обнаружит это, она увидит только его останки, только твердые холодные кости. Но самый большой ужас он испытал не оттого, что крысы могут его съесть. В конце концов, он мог бы продолжать жить в виде скелета. Больше всего его мучил врожденный ужас перед этими тварями. У него волосы вставали дыбом, стоило ему только подумать об этих существах, покрытых шерстью, которые бегали по всему телу, проникали в каждую складку кожи и царапали губы своими холодными лапами. Одна из них добралась до его век и стала грызть роговицу. Когда она отчаянно пыталась продырявить сетчатку, он видел, какая она огромная, безобразная. Тогда он подумал, что умирает еще раз, и целиком отдался обморочной неизбежности.

Он вспомнил, что достиг взрослого возраста. Ему было двадцать пять, и это означало, что больше он

расти не будет. Черты лица его определились, стали жесткими. Но если бы он выздоровел, то не мог бы говорить о своем детстве. У него не было детства. Он прожил его мертвым.

Пока совершался переход от детства к отрочеству, у его матери было много тревог и опасений. Она беспокоилась о поддержании чистоты в гробу и в комнате вообще. Она часто меняла цветы в вазах и каждый день открывала форточки, чтобы проветрить комнату. С каким удовлетворением любовалась она сантиметром на сантиметре, когда убеждалась, что он вырос еще немного! Она испытывала материнскую гордость, видя его живым. Заботилась мать и о том, чтобы в доме не было посторонних. В конце концов, многолетнее пребывание мертвеца в жилой комнате могло быть кому-то неприятно и необъяснимо. Это была самоотверженная женщина. Но скоро ее оптимизм начал убывать. В последние годы она с грустью смотрела на сантиметр. Ее ребенок перестал расти. За последние месяцы его рост не увеличился ни на один дюйм. Мать знала, что очень трудно найти какой-либо другой способ, с помощью которого можно было бы обнаружить признаки жизни в ее дорогом покойнике. Она боялась, что однажды утром он встретит ее *действительно* мертвым, так что каждый день он видел, как она осторожно подходит к его ящику и обнюхивает его. Она впала в безысходное отчаяние. Последнее время мать уже не была такой внимательной и даже не брала в руки сантиметр. Она знала, что он больше не растет.

И он знал, что теперь *действительно* умер. Знал по мирному спокойствию, в котором пребывал его организм. Все разладилось. Едва уловимые удары сердца, которые мог ощутить только он сам, исчезали совсем, заглушаемые ударами пульса. Удары были тяжелые, будто их влекла призывная могучая сила первородной субстанции — земли. Казалось, его влечет к себе с необоримой мощью сила притяжения. Он был тяжелым, как безвозвратно умерший человек. Зато теперь он мог отдохнуть. Именно так. Ему даже не надо было дышать, чтобы жить в смерти.

В его воображении, не прикасаясь к нему, прошли, одно за другим, воспоминания. Там, на жесткой

подушке, покоилась его голова, слегка повернутая влево. Он представил себе, что его полуоткрытый рот — это узкий берег прохлады, которая заполняла его гортань множеством мелких градин. Он был сломан, словно двадцатипятилетнее дерево. Он попытался закрыть рот. Платок, которым была подвязана челюсть, ослаб. Он не мог даже улечься, устроиться таким образом, чтобы принять *достойную позу*. Мускулы и сочленения уже не слушались его, не отзывались на сигналы нервной системы. Он уже был не таким, как восемнадцать лет назад, — нормальным ребенком, который мог двигаться, как ему нравится. Он чувствовал свои бессильные руки, прижатые к обитым ватой стенкам гроба, руки, которые ему уже никогда не будут повиноваться. Живот был твердым, как ореховая скорлупа. Затем ноги — прямые, правильной формы, по которым можно изучать анатомию человека. Покоясь в гробу, его тело становилось тяжелее, но все происходило тихо, без какого-либо беспокойства, как будто мир вокруг замер и никто не нарушает этой тишины; будто легкие земли перестали дышать, чтобы не тревожить невесомый покой воздуха. Он чувствовал себя счастливым, как ребенок, который лежит на прохладной упругой траве и смотрит на плывущие в вечернем небе облака. Он был счастлив, хотя знал, что умер, что навсегда упокоился в деревянном ящике, обитом искусственным шелком. Ум его был необыкновенно ясен. Это было не так, как после первой смерти, когда он чувствовал, что оступел и ничего не воспринимает. Четыре свечи, поставленные вокруг него и обновлявшиеся каждые три месяца, почти истаяли, как раз когда они были так нужны! Он почувствовал близкую свежесть влажных фиалок, которые его мать принесла утром. Он чувствовал, как свежесть исходит и от белых лилий, и от роз. Но вся эта пугающая реальность не причиняла ему никакого беспокойства, — напротив, он был счастлив, совсем один, наедине со своим одиночеством. Может быть, ему станет страшно потом?

Кто знает. Жестоко было думать о той минуте, когда молоток вобьет гвозди в свежую древесину и гроб закрипит в крепнущей надежде снова стать деревом. Его тело, теперь увлекаемое высшей силой земли,

опустится на влажное дно, глинистое и мягкое, и там, наверху, заглушаемые четырьмя кубометрами земли, затихнут последние удары погребения. Нет. Ему и тогда не будет страшно. Это будет продолжением его смерти, самым естественным продолжением его нового состояния.

Его тело уже не сохраняло ни одного градуса тепла, мозг застыл, и снежинки проникли даже в костный мозг. Как просто оказалось привыкнуть к новой жизни, жизни мертвеца! Однажды — несмотря ни на что — он почувствует, как развалится на части его прочный каркас; и когда он захочет ощутить каждое из своих сочленений, у него уже ничего не получится. Он поймет, что у него больше нет определенной, точной формы, и сумеет смириться с тем, что потерял свое совершенное анатомическое устройство двадцатипятилетнего человека и превратился в бесформенную горсть праха, без всяких геометрических очертаний.

В библейский прах смерти. Может быть, тогда его охватит легкая тоска — тоска по тому, что он уже не настоящий труп, имеющий анатомию, а труп воображаемый, абстрактный, существующий только в смутных воспоминаниях родственников. Он поймет, что теперь будет подниматься по капиллярам какой-нибудь яблони и однажды будет разбужен проголодавшимся ребенком, который надкусит его осенним утром. Он узнает тогда — и от этого ему делается грустно, — что утратил гармоническое единство и теперь не является даже самым обыкновенным покойником, мертвецом, как все прочие мертвецы.

Последнюю ночь он провел счастливо, в обществе собственного трупа.

Но с наступлением нового дня, когда первые лучи нежаркого солнца проникли в приоткрытое окно, он почувствовал, что кожа стала мягкой. Минуту он оглядывал себя. Спокойно, тщательно. Подождал, пока до него долетит ветерок. Сомнений быть не могло: от него *пахло*. За ночь мертвая плоть начала разлагаться. Его организм стал разрушаться и гнить, как тело лобного покойника. *Запах*, несомненно, был, — запах тухлого мяса, который то исчезал, то вновь появлялся уже с новой силой. Тело стало разлагаться из-за жа-

ры, в прошлую ночь. Да. Он гнил. Через несколько часов придет мать, чтобы поменять цветы, и с порога ее окутает запах гниющей плоти. И тогда его унесут, чтобы предать вечному сну второй смерти среди прочих мертвецов.

Вдруг страх толкнул его в спину. Страх! Какое глубокое, какое значащее слово! Теперь он был охвачен страхом, *физическим*, подлинным. Что это означает? Он прекрасно понял и содрогнулся: наверное, он не умер. Они поместили его сюда, в этот ящик, который он прекрасно чувствовал всем телом: мягкий, подбитый ватой, ужасающе удобный; а призрак страха открыл ему окно в действительность: его похоронят живым!

Он не мог быть мертвым, поскольку ясно отдавал себе отчет во всем, что происходит, он чувствовал шепот жизни вокруг. Мягкий аромат гелиотропов, проникавший в открытое окно, смешивался с этим его *запахом*. Он отчетливо услышал, как тихо плещется вода в пруду. Как не переставая стрекочет сверчок в углу, полагая, что еще не рассвело.

Все говорило ему, что он не умер. Все, кроме *запаха*. Но как он узнал, что этот запах исходит от него? Может быть, мать забыла поменять воду в вазах и это гниют стебли цветов? А может быть, гниет крыса, которую кошка притащила в его комнату? Нет. Это не может быть *его запахом*.

Всего несколько минут назад он был счастлив, что умер, потому что считал себя мертвым. Потому что мертвый может быть счастливым в своем непоправимом положении. Но живой не может примириться с тем, что его похоронят заживо. Однако его тело не подчинялось ему. Он не мог выразить то, что хотел, и это внушало ему ужас — самый большой ужас в его жизни и в его смерти. Его похоронят заживо. Он сможет это почувствовать. Ощутить ту минуту, когда будут заколачивать гроб. Почувствовать невесомость своего тела, которое будут поддерживать плечи друзей, в то время как гнетущая тоска и отчаяние будут расти в нем с каждым шагом похоронной процессии.

Бесполезно будет пытаться подняться, звать изо всех своих слабых сил, бесполезно стучать, лежа внутри темного тесного гроба, пытаясь дать им знать,

что он еще жив и что они идут хоронить его заживо. Это будет бесполезно: его мышцы и тогда не ответят на тревожный и последний призыв нервной системы.

Он услышал шум в соседней комнате. Он что, спал? Вся эта жизнь мертвеца была кошмарным сном? Однако звон посуды продолжал слышаться. Ему сделалось грустно, может быть даже неприятно, от этого шума. Захотелось, чтобы вся посуда в мире взяла и разбилась, там, рядом с ним, чтобы какая-то внешняя причина пробудила то, что его воля была уже бессильна пробудить.

Но нет. Это не было сном. Он был уверен: «Али бы это был сон, его последняя попытка вернуться к реальности не потерпела бы поражения. Он никогда уже не проснется. Он чувствовал податливость шелка в гробу и *запах*, который окутал его так сильно, что он даже усомнился, от него ли это пахнет. Ему захотелось увидеть родственников, прежде чем он начнет отвращаться, чтобы вид гнилого мяса не вызвал у них отвращения. Соседи в ужасе бросятся от гроба врассыпную, прижимая к носам платки. Их будет рвать. Нет. Не надо такого. Пусть лучше его похоронят. Лучше покончить со всем *этим* как можно раньше. Он и сам уже хотел отделаться от собственного трупа. Теперь он знал, что *действительно* умер или, может быть, жив, но так, что это уже ничего не значит для него. Все равно. В любом случае *запах* слышался все настойчивее.

Смирившись, он бы слушал последние молитвы, последние слова, звучащие на скверной латыни, нечетко повторяемые собравшимися. Ветер кладбищенских костей, наполненный прахом, проникнет в его кости и, может быть, немного рассеет этот *запах*. Быть может, — кто знает?! — неизбежность происходящего заставит его очнуться от летаргического сна. Когда он почувствует, что плавает в собственном поту, в густой вязкой жидкости, вроде той, в которой он плавал до рождения в утробе матери. Тогда, быть может, он станет живым.

Но он уже так смирился со смертью, что, возможно, от смирения и умер.

ЕВА ВНУТРИ СВОЕЙ КОШКИ

Она вдруг заметила, что красота разрушает ее, что красота вызывает физическую боль, будто какая-нибудь опухоль, возможно даже раковая. Она ни на миг не забывала всю тяжесть своего совершенства, которая обрушилась на нее еще в отрочестве и от которой она теперь готова была упасть без сил — кто знает куда, — в усталом смирении дернувшись всем телом, словно загнанное животное. Невозможно было дальше тащить такой груз. Надо было избавиться от этого бесполезного признака личности, от части, которая была ее именем и которая так сильно выделялась, что стала лишней. Да, надо сбросить свою красоту где-нибудь за углом или в отдаленном закоулке предместья. Или забыть в гардеробе какого-нибудь второсортного ресторана, как старое ненужное пальто. Она устала везде быть в центре внимания, осаждаемой долгими взглядами мужчин. По ночам, когда бессонница втыкала иголки в веки, ей хотелось быть обычной, ничем не привлекательной женщиной. Ей, заключенной в четырех стенах комнаты, все казалось враждебным. В отчаянии она чувствовала, как бессонница проникает под кожу, в мозг, подталкивает лихорадку к корням волос. Будто в ее артериях поселились крошечные теплокровные насекомые, которые с приближением утра просыпаются и перебирают подвижными лапками, бегая у нее под кожей туда-сюда, — вот что такое был этот кусок плодородной глины, принявшей обличье прекрасного плода, вот какой была ее природная красота. Напрасно она боролась, пытаясь прогнать этих мерзких тварей. Ей это не удавалось. Они были частью ее собственного организма. Они жили в ней задолго до ее физического существования. Они перешли к ней из сердца ее отца, который, мучась, кормил их ночами безутешного одиночества. А может быть, они попали в ее артерии через пуповину, связывавшую ее с матерью со дня основания мира. Несомненно, эти насеко-

мые не могли зародиться только в ее теле. Она знала: они пришли из далекого прошлого, и все, кто носил ее фамилию, вынуждены были их терпеть и так же, как она, страдали от них, когда до самого рассвета их одолевала бессонница. Именно из-за этих тварей у всех ее предков было горькое и грустное выражение лица. Они глядели на нее из ушедшей жизни, со старинных портретов, с выражением одинаково мучительной тоски. Она вспомнила беспокойное выражение лица своей прабабки, которая, глядя со старого холста, просила минуту покоя, покоя от этих насекомых, которые сновали в ее кровеносных сосудах, немилосердно муча и создавая ее красоту. Нет, это были насекомые, что зародились не в ней. Они переходили из поколения в поколение, поддерживая своей микроскопической конструкцией избранную касту, обреченную на мучения. Эти насекомые родились во чреве первой из матерей, которая родила красавицу дочь. Однако надо было срочно разрушить такой порядок наследования. Кто-то должен был отказаться передавать эту искусственную красоту. Грош цена женщинам ее рода, которые восхищались собой, глядя в зеркало, если по ночам твари, населяющие их кровеносные сосуды, продолжали свою медленную и вредоносную работу — без устали, на протяжении веков. Это была не красота, а болезнь, которую надо было остановить, оборвать этот процесс решительно и по существу.

Она вспомнила нескончаемые часы, проведенные в постели, будто усеянной горячими иголками. Ночи, когда она старалась торопить время, чтобы с наступлением дня эти твари оставили ее в покое и боль утихла. Зачем нужна такая красота? Ночь за ночью, охваченная отчаянием, она думала: лучше бы родиться обыкновенной женщиной или родиться мужчиной, чтобы не было этого бесполезного преимущества, что приносят насекомые из рода в род, насекомые, которые только ускоряют приход неминуемой смерти. Возможно, она была бы счастливей, если бы была уродиной, непоправимо некрасивой, как ее чешская подруга, у которой было какое-то собачье имя. Лучше уж быть некрасивой и спокойно спать, как все добропорядочные христиане.

Она проклинала своих предков. Они виноваты в ее бессоннице. Они передали ей эту застывшую совершенную красоту, как будто, умерев, матери подновляли и подправляли свои лица и прилаживали их к туловищам дочерей. Казалось, одна и та же голова, всего одна, переходит из одного поколения в другое и у всех женщин, которые должны неотвратимо принять ее как наследственный признак красоты, — одинаковые уши, нос, рот. И так, переходя от лица к лицу, был создан этот вечный микроорганизм, который с течением времени усилил свое воздействие, приобрел свои особенности, мощь и превратился в непобедимое существо, в неизлечимую болезнь, которая, пройдя сложный процесс отбора, добралась до нее, и нет больше сил терпеть — такой острой и мучительной она стала!.. И в самом деле, будто опухоль, будто раковая опухоль.

Именно в часы бессонницы вспоминала она о таких неприятных для тонко чувствующего человека вещах. О том, что заполняло мир ее чувств, где выращивались, как в пробирке, эти ужасные насекомые. В такие ночи, глядя в темноту широко открытыми изумленными глазами, она чувствовала тяжесть мрака, опустившегося на виски, словно расплавленный свинец. Вокруг нее все спало. Лежа в углу, она пыталась разглядеть окружающие предметы, чтобы отвлечь себя от мыслей о сне и своих детских воспоминаниях.

Но это всегда кончалось ужасом перед неизвестностью. Каждый раз ее мысль, бродя по темным закоулкам дома, наталкивалась на страх. И тогда начиналась борьба. Настоящая борьба с тремя неподвижными врагами. Она не могла — нет, никогда не могла — выкинуть из головы этот страх. Горло ее сжималось, а надо было терпеть его, этот страх. И всё для того, чтобы жить в огромном старом доме и спать одной, отделенной от остального мира, в своем углу.

Мысль ее бродила по затхлым темным коридорам, стряхивая пыль со старых, покрытых паутиной портретов. Эта ужасная, потревоженная ее мыслью пыль прилетала оттуда, где превращался в ничто прах ее предков. Она всегда вспоминала о *мальше*. Пред-

ставляла себе, как он, покойный, лежит под корнями травы, в патио, рядом с апельсиновым деревом, с комком влажной земли во рту. Ей казалось, она видит его на глинистом дне, как он царапает землю ногтями и зубами, пытаясь уйти от холода, проникающего в него; как он ищет выход наверх в этом узком туннеле, куда его положили и обсыпали ракушками. Зимой она слышала, как он тоненько плачет, перепачканный глиной, и его плач прорывается сквозь шум дождя. Ей казалось, он должен был сохраниться в этой яме, полной воды, таким, каким его оставили там пять лет назад. Она не могла представить себе, что плоть его сгнила. Напротив, он, наверное, очень красивый, когда плавает в той густой воде, из которой нет выхода. Или она видела его живым, но испуганным, ему страшно быть там одному, погребенному в темном патио. Она сама не хотела, чтобы его оставляли там, под апельсиновым деревом, так близко от дома. Ей было страшно... Она знала: он догадается, что по ночам ее неотступно преследует бессонница. И придет по широким коридорам просить ее, чтобы она пошла с ним и защитила бы его от других тварей, пожирающих корни его фиалок. Он вернется, чтобы уснуть рядом с ней, как делал это, когда был жив. Она боялась почувствовать его рядом с собой снова — после того, как ему удастся разрушить стену смерти. Боялась прикосновения этих рук, *мальши* всегда будет держать их крепко сцепленными, чтобы отогреть кусочек льда, который принесет с собой. После того как его превратили в цемент, наводящее страх надгробие, она хотела, чтобы его увезли далеко, потому что боялась вспоминать его по ночам. Однако его оставили там, окоченелого, в глине, и дождевые черви теперь пьют его кровь. И приходится смириться с тем, что он является ей из глубины мрака, ибо всякий раз, неизменно, когда она не могла заснуть, она думала о *мальше*, который зовет ее из земли и просит, чтобы она помогла ему освободиться от этой нелепой смерти.

Но сейчас, по-новому ощутив пространство и время, она немного успокоилась. Она знала, что там, за пределами ее мира, все идет своим чередом, как и раньше; что ее комната еще погружена в предрасветный сумрак и что предметы, мебель, тринад-

цать любимых книг — все остается на своих местах. И что запах живой женщины, заполняющий пустоту ее чрева, который исходит от ее одинокой постели, начинает исчезать. Но как *это* могло произойти? Как она, красивая женщина, в крови которой обитают насекомые, преследуемая страхом многие ночи, оставила свои бессонные кошмары и оказалась в странном, неведомом мире, где вообще нет измерений? Она вспомнила. В ту ночь — ночь перехода в этот мир — было холоднее, чем всегда, и она была дома одна, измученная бессонницей. Никто не нарушал тишины, и запах из сада был запахом страха. Обильный пот покрывал все ее тело, будто вся кровь из вен разлилась внутри нее, вытесненная насекомыми. Ей хотелось, чтобы хоть кто-нибудь прошел мимо дома по улице или кто-нибудь крикнул, чтобы расколоть эту застывшую тишину. Пусть что-нибудь в природе произойдет, и Земля снова завертится вокруг Солнца. Но все было бесполезно. Эти глупые люди даже не проснутся и будут и дальше спать, зарывшись в подушки. Она тоже сохраняла неподвижность. От стен несло свежей краской, запах был такой густой и навязчивый, что чувствовался не обонянием, а скорее желудком. Единственными, кто разбивал тишину своим неизменным тиканьем, были часы на столике. «Время... о, время!..» — вздохнула она, вспомнив о смерти. А там, в патио, под апельсиновым деревом, тоненько плакал *малыш*, и плач его доносился из другого мира.

Она призвала на помощь всю свою веру. Почему никак не рассветет, почему ей сейчас не умереть? Она никогда не думала, что красота может стоить таких жертв. В тот момент, как обычно, кроме страха она почувствовала физическую боль. Даже сквозь страх мучили ее эти жестокие насекомые. Смерть схватила ее жизнь как паук, который злобно кусал ее, намереваясь уничтожить. Но оттягивал последнее мгновение. Ее руки, те самые, что глупцы мужчины сжимали, не скрывая животной страсти, были неподвижны, парализованы страхом, необъяснимым ужасом, шедшим изнутри, не имеющим причины, кроме той, что она покинута всеми в этом старом доме. Она хотела собраться с силами и не смогла. Страх погло-

тил ее целиком и только возрастал, неотступный, напряженный, почти осязаемый, будто в комнате был кто-то невидимый, кто не хотел уходить. И больше всего ее тревожило: у этого страха не было никакого объяснения, это был страх как таковой, без всяких причин, просто страх.

Она почувствовала густую слюну во рту. Было мучительно ощущать эту жесткую резину, которая прилипала к нёбу и текла неудержимым потоком. Это не было похоже на жажду. Это было какое-то желание, преобладавшее над всеми прочими, которое она испытывала впервые в жизни. На какой-то миг она забыла о своей красоте, бессоннице и необъяснимом страхе. Она не узнавала себя самое. Ей вдруг показалось — из ее организма вышли микробы. Она чувствовала их в слюне. Да, и это было очень хорошо. Хорошо, что насекомых больше нет и что она сможет теперь спать, но нужно было найти какое-то средство, чтобы избавиться от резины, обмотавшей язык. Вот бы дойти до кладовой и... Но о чем она думает? Она вдруг удивилась. Она никогда не чувствовала *такого* желания. Неожиданный терпкий привкус лишил ее сил и делал бессмысленным тот обет, которому она была верна с того дня, как похоронила *малыша*. Глупость, но она не могла прежде побороть отвращения и съесть апельсин. Она знала: *малыш* добирается весной до цветов на дереве и плоды осенью будут напитаны его плотью, освеженные жуткой прохладой смерти. Нет. Она не могла их есть. Она знала, что под каждым апельсиновым деревом, во всем мире, похоронен ребенок, который насыщает плоды сладостью из кальция своих костей. Однако сейчас ей хотелось съесть апельсин. Это было единственным средством от тягучей резины, которая душила ее. Глупо было думать, что *малыш* был в каждом апельсине. Надо воспользоваться тем, что боль, какую причиняла ей красота, наконец оставила ее, надо дойти до кладовой. Но... не странно ли это? Впервые в жизни ей хотелось съесть апельсин. Она улыбнулась — да, улыбнулась. Ах, какое наслаждение! Съесть апельсин. Она не знала почему, но никогда у нее не было желания более сильного. Вот бы встать счастливой от сознания, что ты обыкновенная

женщина, и, весело напевая, дойти до кладовой, — весело, как обновленная женщина, которая только что родилась. Обязательно пойти в патио и...

Вдруг мысли ее прервались. Она вспомнила, что уже попыталась подняться и что она уже не в своей постели, что тело ее исчезло, что нет тринадцати любимых книг и что она — уже не она. Она стала бестелесной и парила в свободном полете в абсолютной пустоте, летела неизвестно куда, превратившись в нечто аморфное, в нечто мельчайшее. Она не могла с точностью сказать, что происходит. Все перепуталось. У нее было ощущение, что кто-то толкнул ее в пустоту с невероятно высокого обрыва. Ей казалось, она превратилась в нечто абстрактное, воображаемое. Она чувствовала себя бестелесной женщиной — как если бы вдруг вошла в высший, непознанный мир невинных душ.

Ей снова стало страшно. Но не так, как раньше. Теперь она не боялась, что заплачет *малыш*. Она боялась этого чуждого, таинственного и незнакомого нового мира. Подумать только — все произошло так естественно, при полном ее неведении! Что скажет ее мать, когда придет домой и поймет, что произошло? Она представила, как встревожатся соседи, когда откроют дверь в ее комнату и увидят, что кровать пуста, замки целы и что никто не мог ни выйти, ни войти, но, несмотря на это, ее в комнате нет. Представила отчаяние на лице матери, которая ищет ее повсюду, теряясь в догадках и спрашивая себя, что случилось с ее девочкой. Дальнейшее виделось ясно. Все соберутся и начнут строить предположения — разумеется, зловещие — об ее исчезновении. Каждый на свой лад. Выискивая объяснение наиболее логичное, по крайней мере наиболее приемлемое; и дело кончится тем, что мать бросится бежать по коридорам дома, в отчаянии звать ее по имени.

А она будет в комнате. Она будет смотреть на происходящее, тщательно разглядывая все вокруг, глядя из угла, с потолка, из щелей в стенах, отовсюду — из самого удобного местечка, под прикрытием своей бестелесности, своей неузнаваемости. Ей стало тревожно, когда она подумала об этом. Только теперь она поняла свою ошибку. Она ничего не сможет объяснить, рас-

сказать и никого не сможет утешить. Ни одно живое существо не узнает о ее превращении. Теперь — единственный раз, когда все это ей нужно, — у нее нет ни рта, ни рук для того, чтобы все поняли, что она здесь, в своем углу, отделенная от трехмерного мира непреодолимым расстоянием. В этой своей новой жизни она совсем одинока и ощущения ей совершенно неподвластны. Но каждую секунду что-то вибрировало в ней, по ней пробегала дрожь, заполняя ее всю и заставляя помнить, что есть другой материальный мир, который движется вокруг ее собственного мира. Она не слышала, не видела, но знала, что можно слышать и видеть. И там, на вершине высшего мира, она поняла, что ее окружает аура мучительной тоски.

Секунды не прошло — в соответствии с нашими представлениями о времени, — как она совершила этот переход, а она уже стала понемногу понимать законы и размеры нового мира. Вокруг нее кружился абсолютный и окончательный мрак. До каких же пор будет длиться эта мгла? И привыкнет ли она к ней в конце концов? Тревожное чувство усилилось, когда она поняла, что утонула в густом, непроницаемом мраке: она — в преддверии рая? Она вздрогнула. Вспомнила все, что когда-либо слышала о лимбе. Если она и вправду там, рядом с ней должны парить другие невинные души, души детей, умерших некрещеными, которые жили и умирали на протяжении тысяч лет. Она попыталась отыскать во мраке эти существа, которые, вероятно, еще более невинны и простодушны, чем она. Полностью отделенные от материального мира, обреченные на сомнамбулическую и вечную жизнь. Может быть, *малыш* здесь, ищет выход, чтобы вернуться в свою телесную оболочку.

Но нет. Почему она должна оказаться в преддверии рая? Разве она умерла? Нет. Произошло изменение состояния, обыкновенный переход из материального мира в мир более легкий, более удобный, где стираются все измерения.

Здесь не надо страдать от подкожных насекомых. Ее красота растворилась. Теперь, когда все так просто, она может быть счастлива. Хотя... о! не вполне, потому что сейчас ее самое большое жела-

ние — съесть апельсин — стало невыполнимым. Это была единственная причина, по которой она хотела вернуться в прежнюю жизнь. Чтобы избавиться от терпкого привкуса, который продолжал преследовать ее после перехода. Она попыталась сориентироваться и сообразить, где кладовая, и хотя бы почувствовать прохладный и терпкий аромат апельсинов. И тогда она открыла новую закономерность своего мира: она была в каждом уголке дома, в патио, на потолке и даже в апельсине *малыша*. Она заполняла весь материальный мир и мир потусторонний. И в то же время ее не было нигде. Она снова встревожилась. Она потеряла контроль над собой. Теперь она подчинялась высшей воле, стала бесполезным, нелепым, ненужным существом. Непонятно почему, ей стало грустно. Она почти скучала по своей красоте — красоте, которую по глупости не ценила.

Внезапно она оживилась. Разве она не слышала, что невинные души могут по своей воле проникать в чужую телесную оболочку? В конце концов, что она потеряет, если попытается? Она стала вспоминать, кто из обитателей дома более всего подошел бы для этого опыта. Если ей удастся осуществить свое намерение, она будет удовлетворена: она сможет съесть апельсин. Она перебрала в памяти всех. В этот час слуг в доме не бывает. Мать еще не пришла. Но непреодолимое желание съесть апельсин вместе с любопытством, которое вызывал в ней опыт реинкарнации, вынуждали ее действовать как можно скорее. Но не было никого, в кого можно было бы воплотиться. Причина была нешуточной: дом был пуст. Значит, она вынуждена вечно жить отделенной от внешнего мира, в своем мире, где нет никаких измерений, где нельзя съесть апельсин. И все — по глупости. Уж лучше было бы еще несколько лет потерпеть эту жестокую красоту, чем исчезнуть навсегда, стать бесполезной, как поверженное животное. Но было уже поздно.

Разочарованная, она хотела где-то укрыться, где-нибудь вне вселенной, там, где она могла бы забыть все свои прошлые земные желания. Но что-то властно не позволяло ей сделать это. В неизведанном ею

пространстве открылось обещание лучшего будущего. Да, в доме есть некто, в кого можно воплотиться: кошка! Какое-то время она колебалась. Трудно было представить себе, как это можно — стать животным. У нее будет мягкая белая шерстка, и она всегда будет готова к прыжку. Она будет знать, что по ночам глаза ее светятся, как раскаленные зеленые угли. У нее будут белые острые зубы, и она будет улыбаться матери от всего своего дочернего сердца широкой и доброй улыбкой зверя. Но нет!.. Этого не может быть. Она вдруг представила: она — кошка, и бежит по коридорам дома на четырех еще непривычных лапах, легко и произвольно помахивая хвостом. Каким видится мир, если смотреть на него зелеными сверкающими глазами? По ночам она будет мурлыкать, подняв голову к небу, и просить, чтобы люди не заливали цементом из лунного света глаза *малыша*, который лежит лицом кверху и пьет росу. Возможно, если она будет кошкой, ей все равно будет страшно. И возможно, в довершение всего она не сможет съесть апельсин своим хищным ртом. Вселенский холод, родившийся у самых истоков души, заставил ее задрожать при этой мысли. Нет. Перевоплотиться в кошку невозможно. Ей стало страшно оттого, что однажды она почувствует на небе, в горле, во всем своем четвероногом теле непреодолимое желание съесть мышь. Наверное, когда ее душа поселится в кошачьем теле, ей уже не захочется апельсина, ее будет мучить отвратительное и сильное желание съесть мышь. Ее затрясло, стоило ей представить, как она, поймав мышь, держит ее в зубах. Она почувствовала, как та бьется, пытаясь вырваться и убежать в нору. Нет. Только не это. Уж лучше жить так, в далеком и таинственном мире невинных душ.

Однако тяжело было смириться с тем, что она навсегда покинула жизнь. Почему ей должно будет хотеться есть мышей? Кто будет главенствовать в этом соединении женщины и кошки? Будет ли главным животный инстинкт, примитивный, низменный, или его заглушит независимая воля женщины? Ответ был прозрачно ясен. Зря она боялась. Она воплотится в кошку и съест апельсин. К тому же она станет необычным существом — кошкой, обладающей ра-

зумом красивой женщины. Она будет привлекать всеобщее внимание... И тут она впервые поняла, что самой главной ее добродетелью было тщеславие женщины, полной предрассудков.

Подобно насекомому, которое шевелит усиками-антеннами, она направила свою энергию на поиски кошки, которая была где-то в доме. В этот час та, должно быть, дремлет на каминной полке и мечтает проснуться со стебельком валерианы в зубах. Но там кошки не было. Она снова искала ее, но вновь не нашла на камине. Кухня была какая-то странная. Углы ее были не такие, как раньше, не те прежние темные углы, затянутые паутиной. Кошки нигде не было. Она искала ее на крыше, на деревьях, в канавах, под кроватью, в чулане. Все показалось ей изменившимся. Там, где она ожидала увидеть, как обычно, портреты своих предков, были только флаконы с мышьяком. И потом она постоянно находила мышьяк по всему дому, но кошка исчезла. Дом был не похож на прежний. Что случилось со всеми предметами? Почему ее тринадцать любимых книг покрыты теперь толстым слоем мышьяка? Она вспомнила об апельсиновом дереве в патио. Отправилась на поиски, предполагая найти его около *малыша*, в его яме, полной воды. Но апельсинового дерева на месте не было, и *малыша* тоже не было — только горсть мышьяка и пепла под тяжелой могильной плитой. Она, несомненно, спала. Все было другим. Дом был полон запаха мышьяка, который ударял в ноздри, как будто она находилась в аптеке.

Только тут она поняла, что прошло уже три тысячи лет с того дня, когда ей захотелось съесть апельсин.

ДРУГАЯ СТОРОНА СМЕРТИ

Неизвестно почему — он вдруг проснулся, словно от толчка. Терпкий запах фиалок и формальдегида шел из соседней комнаты широкой волной, смешиваясь с ароматом только что раскрывшихся цветов, который посылал утренний сад. Он попытался успокоиться и обрести присутствие духа, которого сон лишил его. Должно быть, было уже раннее утро, потому что было слышно, как поливают грядки огорода, а в открытое окно смотрело синее небо. Он оглядел полутемную комнату, пытаясь как-то объяснить это резкое, тревожное пробуждение. У него было ощущение, физическая уверенность, что кто-то вошел в комнату, пока он спал. Однако он был один, и дверь, запертая изнутри, не была взломана. Сквозь окно пролилось сияние. Какое-то время он лежал неподвижно, стараясь унять нервное напряжение, которое возвращало его к пережитому во сне, и, закрыв глаза, лежа на спине, пытался восстановить прерванную нить спокойных размышлений. Ток крови резкими толчками отзывался в горле, а дальше, в груди, отчаянно и сильно колотилось сердце, все отмеряя и отмеряя отрывистые и короткие удары, как после изнурительного бега. Он заново мысленно пережил прошедшие несколько минут. Возможно, ему приснился какой-то странный сон. Должно быть, кошмар. Да нет, ничего особенного не было, никакого повода для *такого* состояния.

Они ехали на поезде (сейчас я это помню) по какой-то местности (я это часто вижу во сне) среди мертвой природы, среди искусственных, ненастоящих деревьев, обвешанных бритвенными лезвиями, ножницами и прочими острыми предметами вместо плодов (я вспоминаю: мне надо было причесаться) — в общем, парикмахерскими принадлежностями. Он часто видел этот сон, но никогда не просыпался от него так резко, как сегодня. За одним из деревьев стоял его брат-близнец, тот, которого недавно похо-

ронили, и знаками показывал ему — однажды такое было в реальной жизни, — чтобы он остановил поезд. Убедившись в бесполезности своих жестов, брат побежал за поездом и бежал до тех пор, пока, задыхаясь, не упал с пеной у рта. Конечно, это было нелепое, ирреальное видение, но в нем не было ничего, что могло бы вызвать *такое* беспокойство. Он снова прикрыл глаза — в прожилках его век застучала кровь, и удары ее становились все жестче, словно удары кулака. Поезд пересекал скучную, унылую, бесплодную местность, и тут боль, которую он почувствовал в левой ноге, отвлекла его внимание от пейзажа. Он осмотрел ногу и увидел — не следует надевать тесные ботинки — опухоль на среднем пальце. Самым естественным образом, как будто всю жизнь только это и делал, он достал из кармана отвертку и вывинтил головку фурункула. Потом аккуратно убрал отвертку в синюю шкатулку — ведь сон был цветной, верно? — и увидел, что из опухоли торчит конец грязной желтоватой веревки. Не испытывая никакого удивления, будто ничего странного в этой веревке не было, он осторожно и ловко потянул за ее конец. Это был длинный шнур, длиннющий, который все тянулся и тянулся, не причиняя неудобства или боли. Через секунду он поднял взгляд и увидел, что в вагоне никого нет, только в одном из купе едет его брат, переодетый женщиной, и, стоя перед зеркалом, пытается ногтями вытащить свой левый глаз.

Конечно, этот сон был неприятный, но он не мог объяснить, почему у него поднялось давление, ведь в предыдущие ночи, когда он видел тяжелейшие кошмары, ему удавалось сохранять спокойствие. Он почувствовал, что у него холодные руки. Запах фиалок и формальдегида стал сильнее и был неприятен, почти невыносим. Закрыв глаза и пытаясь выровнять дыхание, он попытался подумать о чем-нибудь привычном, чтобы снова погрузиться в сон, прервавшийся несколькими минутами раньше. Можно было, например, подумать: через несколько часов мне надо идти в похоронное бюро платить по счетам. В углу запел неугомонный сверчок и наполнил комнату сухим отрывистым стрекотанием. Нервное

напряжение начало ослабевать понемногу, но ощущимо, и он почувствовал, как его отпустило, мускулы расслабились; он откинулся на мягкую подушку, тело его, легкое и невесомое, испытывало благостную усталость и теряло ощущение своей материальности, земной субстанции, имеющей вес, которая определяла и устанавливала его в присутствии ему на лестнице зоологических видов месте, которое заключало в своей сложной архитектуре всю сумму систем тела и геометрию органов, поднимало его на высшую ступень в иерархии разумных животных. Веки послушно опустились на радужную оболочку так же естественно, как соединяются члены, составляющие руки и ноги, которые постепенно, впрочем, теряли свободу действий; как будто весь организм превратился в единый большой, отдельный орган и он — человек — перестал быть смертным и обрел другую судьбу, более глубокую и прочную: вечный сон, нерушимый и окончательный. Он слышал, как снаружи, на другом конце света, стрекотание сверчка становится все тише, пока совсем не смолкло; как время и расстояние входят внутрь его существа, вырастая в нем в новые и простые понятия, вычеркивая из сознания материальный мир, физический и мучительный, заполненный насекомыми и терпким запахом фиалок и формальдегида.

Спокойно, обласканный теплом каждодневного покоя, он почувствовал, как легка его выдуманная дневная смерть. Он погрузился в мир отрадных путешествий, в призрачный идеальный мир — мир, будто нарисованный ребенком, без алгебраических уравнений, любовных прощаний и силы притяжения.

Он не мог сказать, сколько времени провел так, на зыбкой грани сна и реальности, но вспомнил, что рывком, будто ему ножом полоснули по горлу, подскочил на кровати и почувствовал: брат-близнец, его умерший брат, сидит в ногах кровати.

Снова, как раньше, сердце сжалось в кулак и ударило его в горло так сильно, что он подскочил. Нарождающийся свет, сверчок, который нарушал тишину своим расстроенным органчиком, прохладный ветерок, долетавший из мира цветов в саду, —

все это вместе вернуло его к реальной жизни; но в этот раз он понимал, отчего вздрогнул. В короткие минуты бессонницы и — сейчас я отдаю себе в этом отчет — в течение всей ночи, когда он думал, что видит спокойный, мирный сон *без мыслей*, его сознание занимал только один образ, постоянный, неизменный, — образ, существующий *отдельно от всего*, утвердившийся в мозгу помимо его воли и несмотря на сопротивление его сознания. Да. *Некая мысль* — так, что он почти не заметил этого, — овладела им, заполнила, охватила все его существо, будто появился занавес, представляющий неподвижный фон для всех остальных мыслей; она составляла опору и главный позвонок мысленной драмы его дней и ночей. Мысль о мертвом теле брата-близнеца гвоздем застряла в мозгу и стала центром жизни. И сейчас, когда его оставили там, на крохотном клочке земли, и веки его вздрагивают от дождевых капель, сейчас он *боится его*.

Он никогда не думал, что удар будет таким сильным. В открытое окно снова проник аромат, смешанный теперь с запахом влажной земли, погребенных костей; его обоняние обострилось, и его охватила ужасающая животная радость. Уже много часов прошло с тех пор, когда он *видел*, как *тот* корчится под простынями, словно раненый пес, и стонет, и этот задавленный последний крик заполняет *его* пересохшее горло; как пытается ногтями разодрать боль, которая ползет по *его* спине, забираясь в самую сердцевину опухоли. Он не мог забыть, как *тот* бился, будто агонизирующее животное, восстав против правды, которая была перед *ним*, во власти которой находилось *его* тело, с непреодолимым постоянством, окончательным, как сама смерть. Он видел *его* в последние минуты ужасной агонии. Когда *он* обломал ногти о стену, раздирая последнюю крупницу жизни, что уходила у него между пальцев и обогрилась *его* кровью, а в это время гангрена сжирала *его* плоть, как ненасытно-жестокая женщина. Потом он увидел, как *он* откинулся на смятую постель, даже не успев устать, покрытый испариной и смирившийся, и *его* губы, увлажненные пеной, сложились в жуткую улыбку, и смерть потекла по *его* телу, будто поток пепла.

Так было, когда я вспомнил об опухоли в животе, которая его мучила. Я представлял себе ее круглой — теперь у него было то же самое ощущение, — разбухающей внутри, будто маленькое солнце, невыносимой, будто желтое насекомое, которое протягивает свою вредоносную нить до самой глубины внутренностей. (Он почувствовал, что в организме у него все разладилось, словно уже от философского понимания необходимости неизбежного.) Возможно, и у меня будет такая же опухоль, какая была у него. Сначала это будет маленькое вздутие, которое будет расти, разветвляясь, увеличиваясь у меня внутри, будто плод. Возможно, я почувствую опухоль, когда она начнет двигаться, перемещаться внутри меня с неистовством ребенка-лунатика, переходя по моим внутренностям, как слепая, — он прижал руки к животу, чтобы унять острую боль, затем с тревогой вытянул их в темноту, в поисках матки, гостеприимного теплого убежища, которое ему не суждено найти; и сотни лапок этого фантастического существа, перепутавшись, станут длинной желтоватой пуповиной. Да. Возможно, и у меня в желудке — как у брата, который только что умер, — будет опухоль. Запах из сада стал очень сильным, неприятным, превращаясь в тошнотворную вонь. Время, казалось, застыло на пороге рассвета. Через окно сияние утра было похоже на свернувшееся молоко, и казалось, что именно поэтому из соседней комнаты, там, где всю прошлую ночь пролежало тело, так несло формальдегидом. Это, разумеется, был не тот запах, что шел из сада. Это был тревожный, особенный запах, не похожий на аромат цветов. Запах, который навсегда, стоило только узнать его, казался трупным. Запах леденящий и неотвязный — так пахло формальдегидом в анатомическом театре. Он вспомнил лабораторию. Заспиртованные внутренности, чучела птиц. У кролика, пропитанного формалином, мясо становится жестким, обезвоживается, теряет мягкую эластичность, и он превращается в бессмертного, вечного кролика. Формальдегидного. Откуда этот запах? *Единственный способ остановить разложение.* Если вены человека заполнить формалином, мы станем заспиртованными анатомическими образчиками.

Он услышал, как снаружи усиливается дождь и барабанит, будто молоточками, по стеклу приоткрытого окна. Свежий воздух, бодрящий и обновленный, ворвался в комнату, неся с собой влажную прохладу. Руки его совсем застыли, наводя на мысль о том, что по артериям течет формалин, — будто холод из патио проник до самых костей. Влажность. Там очень влажно. С горечью он подумал о зимних ночах, когда дождь будет заливать траву, и влажность примостится под боком его брата, и вода будет циркулировать в его теле, как токи крови. Он подумал, что у мертвецов должна быть другая система кровообращения, которая быстро ведет их к другой ступени смерти — последней и невозвратной. В этот момент ему захотелось, чтобы дождь перестал и лето стало бы единственным, вытеснившим все остальные временем года. И поскольку он об этом думал, настойчивый и влажный шум за окном его раздражал. Ему хотелось, чтобы глина на кладбищах была сухой, всегда сухой, поскольку его беспокоила мысль: там, под землей, две недели — влажность уже проникла в костный мозг — лежит человек, уже совсем не похожий на него.

Да. Они были близнецами, похожими как две капли воды, близнецами, которых с первого взгляда никто не мог различить. Раньше, когда они были братьями и жили каждый своей жизнью, они были просто *братьями-близнецами*, живущими как два отдельных человека. В *духовном* смысле у них не было ничего общего. Но сейчас, когда жестокая, ужасная реальность, будто беспозвоночное животное, холодом заскользила по спине, что-то нарушилось в едином целом, появилось нечто похожее на пустоту, словно в теле у него открылась рана, глубокая, как бездна, или как будто резким ударом топора ему отсекали половину туловища: не от этого тела с конкретным анатомическим устройством и совершенным геометрическим рисунком, не от физического тела, которое сейчас чувствовало страх, — от другого, которое было далеко от него, которое вместе с ним погрузили в водянистый мрак материнской утробы и которое вышло на свет, поднявшись по ветвям старого генеалогического древа; которое было вместе с ним в крови четырех

пар их прадедов, оно шло к нему оттуда, с сотворения мира, поддерживая своей тяжестью, своим таинственным присутствием всю мировую гармонию. Возможно, в его жилах течет кровь Исаака и Ревекки, возможно, он мог быть другим братом, тем, который родился на свет уцепившись за его пятку и который пришел в этот мир через могилы поколений и поколений, от ночи к ночи, от поцелуя к поцелую, от любви к любви, путешествуя, будто в сумраке, по артериям и семенникам, пока не добрался до матки своей родной матери. Сейчас, когда равновесие нарушено и уравнение окончательно решено, таинственный генеалогический маршрут виделся ему реально и мучительно. Он знал, что в гармонии его личности чего-то недостает, как недостает этого в его обычной, видимой глазу целостности: *«Потом вышел Иаков, держа за пятку Исава».*

Пока брат его болел, у него не было такого ощущения, потому что изменившееся лицо, искаженное лихорадкой и болью, с отросшей бородой, было непохоже на его собственное.

Сразу же, как только брат вытянулся и затих, побежденный окончательной смертью, он позвал брата-добра «привести тело в порядок». Сам он был тут же и стоял вжавшись в стену, когда пришел человек, одетый в белое, и принес сверкающие инструменты для работы... Ловким движением мастер покрыл мыльной пеной бороду покойника — рот тоже был в пене. Таким я видел брата перед смертью: медленно, будто стараясь вызнать какой-то ужасный секрет, парикмахер начал его брить. Вот тогда-то и пришла *эта* жуткая мысль, которая заставила его вздрогнуть. По мере того как с помощью бритвенного лезвия все более проступали бледные, искаженные ужасом черты *брата-близнеца*, он все более чувствовал, что это мертвое тело не есть что-то чуждое ему; это — нечто составляющее единый с ним земной организм, и все, что происходит, — это просто репетиция его собственной... У него было странное чувство, что родители вынули из зеркала его отражение, то, которое он видел, когда брился. Ему казалось сейчас, что это изображение, повторявшее каждое его движение, стало независимым от него. Он видел свое отражение мно-

жество раз, когда брился, — каждое утро. Сейчас он присутствовал при драматическом событии, когда другой человек бреет его отражение в зеркале невзирая на его собственное физическое присутствие. Он был уверен, убежден, что если сейчас подойдет к зеркалу, то не увидит там *ничего*, хотя законы физики и не смогут объяснить это явление. Это было раздвоение сознания! Его двойником был покойник! В полном отчаянии, пытаясь овладеть собой, он ощупал пальцами прочную стену дома, которую ощутил как застывший поток. Брадобрей закончил работу и кончиками ножниц закрыл глаза покойному. Мрак дрожал внутри него, в непоправимом одиночестве ушедшей из мира плоти. Теперь они были одинаковыми. Неотличимые друг от друга братья, без устали повторяющие друг друга.

И тогда он пришел к выводу: если эти две природные сущности так тесно связаны между собой, то должно произойти нечто необычайное и неожиданное. Он вообразил, что разделение двух тел в пространстве — не более чем видимость, на самом же деле у них единая, общая природа. Так что когда мертвец станет разлагаться, он, живой, тоже начнет гнить внутри себя.

Он услышал, как дождь застучал по стеклу с новой силой и сверчок принялся щипать свою струну. Руки его стали совершенно ледяными, скованные холодом долгой неодоушевленности. Острый запах формальдегида заставлял думать, что гниение, которому подвергался его брат, проникает, как послание, оттуда, из ледяной земляной ямы. Это было нелепо! Возможно, все перевернуто с ног на голову: влияние должен оказывать он, тот, кто продолжает жить, — своей энергией, своими живыми клетками! И тогда — если так — его брат останется таким, какой он есть, и равновесие между жизнью и смертью защитит его от разложения. Но кто убедит его в этом? Разве невозможно и то, что погребенный брат сохранится нетронутым, а гниение своими синеватыми щупальцами заполонит живого?

Он подумал, что последнее предположение наиболее вероятно, и, смирившись, стал ждать своего смертного часа. Плоть его стала мягкой, разбухшей,

и ему показалось, что какая-то голубая жидкость покрыла все его тело целиком. Он почувствовал — один за другим — все запахи своего тела, однако только запах формалина из соседней комнаты вызвал знакомую холодную дрожь. Потом его уже ничто не волновало. Сверчок в углу снова затянул свою песенку, большая круглая капля свисала с чистых небес прямо посреди комнаты. Он услышал: вот она упала — и не удивился, потому что знал — старая деревянная крыша здесь прохудилась, но представил себе эту каплю — прохладной, бескрайней, как небеса, воды, добрую и ласковую, которая пришла с небес, из лучшей жизни, где нет таких идиотских вещей, как любовь, пищеварение или жизнь близнецов. Может быть, эта капля заполнит всю комнату через час или через тысячу лет и растворит это брэнное сооружение, эту никому не нужную субстанцию, которая, возможно, — почему бы и нет? — превратится через несколько мгновений в вязкое месиво из белковины и сукровицы. Теперь уже все равно. Между ним и его могилой — только его собственная смерть. Смирившись, он услышал, как большая круглая тяжелая капля упала, произошло это где-то в другом мире, в мире нелепостей и заблуждений, в мире разумных существ.

ДИАЛОГ С ЗЕРКАЛОМ

Жил некогда человек, который, проспав несколько часов сном праведника, забывшего о заботах и тревогах недавнего рассвета, проснулся, когда солнце было уже высоко и городской шум наполнял — всю целиком — комнату, дверь в которую была приоткрыта. Опять ему на ум пришла — таково было состояние его духа — неотвязная мысль о смерти, о всеобъемлющем страхе, о том комке глины, частью которого стал его брат и которая, должно быть, уже забила ему рот. Однако веселое солнце, освещавшее сад, переключило его внимание на жизнь более обычную, более земную и, может быть, менее реальную, чем его пугающая внутренняя жизнь. Это был обычный человек, заезженная рабочая скотина, который волей-неволей знал — не говоря уже о том, что у него расшатанная нервная система и увеличенная печень, — ему никогда не спать сном добропорядочного буржуа. Он вспомнил о финансовых головоломках, которыми занимался на работе, — в них, в этой числовой путанице, было что-то от старой доброй математики.

Двенадцать минут девятого. Наверняка опоздаю. Он провел по щеке кончиками пальцев. Шершавая кожа, покрытая однодневной щетиной, показалась ему на ощупь жесткой. Потом ладонью, с отсутствующим видом, тщательно ощупал лицо — спокойно и уверенно, как хирург, знающий, где расположена опухоль, — убедился, что, если немного нажать на эластичную поверхность, можно обнаружить твердую субстанцию некой истины, которая порой тревожила его. Там, под пальцами, — и еще глубже, там, где кости, — крепкое анатомическое строение хранило неизменный порядок всех его составляющих, вселенную переплетенных тканей, маленьких миров, которые поддерживали снизу доверху каркас из мяса, менее постоянный, чем естественное и окончательное расположение костей.

Да. Уйдя с головой в мягкую подушку, удобно устроив тело так, чтобы отдыхали все его органы, он ощущал, что у жизни горизонтальный привкус и что эта позиция — самая удобная для его принципов. Он знал: стоит смежить веки — долгая, утомительная работа, поджидавшая его, станет казаться чем-то простым, не зависящим от времени и пространства; совсем необязательно, выполняя эту работу, причинять хоть малейшее неудобство этому соединению химических элементов, которым является его тело. Напротив, если вот так смежить веки, будет происходить огромная экономия жизненных ресурсов, будет полностью исключен органический износ. Его тело, погруженное в глубину снов, могло бы двигаться, жить, развиваться в другие формы существования материи, которыми располагает реальный мир, потому что этого хочет его внутренний мир, яркий мир его эмоций, — более того, развиваться в такие формы существования, благодаря которым потребность жить была бы полностью удовлетворена без всякого ущерба для физической оболочки. И тогда куда более легкой была бы задача сосуществования с людьми и предметами, причем жить можно так же, как в реальном мире. Такие действия, как бритье, поездка в автобусе, математические уравнения на работе, во сне осуществляются просто и легко и оставляют по себе чувство внутреннего удовлетворения.

Да. Лучше было проделать это своеобразно — так, как он делал раньше: надо найти в освещенной комнате зеркало. Он уже было взялся за дело, но в этот момент грузовая машина, тяжелая и нелепая, разрушила хрупкую субстанцию охватившего его сна. Когда он снова вернулся в мир условностей, все показалось ему более сложным. Однако необычная теория, так его разнежившая, сузила границы понимания, и из глубин существа он почувствовал, как его рот сдвигается куда-то в сторону, и это означает произвольную улыбку. Но хотя и с отвращением, он, в глубине души, продолжал улыбаться. «Надо побриться, я должен быть во всеоружии через двадцать минут». Умыться — восемь, если бриться быстро — пять, завтрак — семь. Противные лежальные

сосиски. Магазин Мабель — приправы, выпечка, лекарственные препараты, ликеры; это похоже на чей-то ящик, я знаю чей, — забыл слово. (Автобус по вторникам ломается и опаздывает на семь минут.) Пендора. Нет, Пельдора. Не так. Всего полчаса. Времени нет. Забыл, как называется ящик, где есть все на свете. Педора. Начинается на «п».

Стоя в ванной комнате в халате, заспанный, растрепанный и небритый, он бросил недовольный взгляд в зеркало. Слегка вздрогнул, поняв, как похоже то, что он увидел в зеркале, на его умершего брата, когда тот вставал по утрам. То же усталое лицо, тот же взгляд еще не проснувшегося человека.

Он изменил выражение лица, чтобы на отражение в зеркале стало приятно смотреть, однако зеркало вернуло ему — вопреки желанию — насмешливую мину. Вода. Горячая струя хлынула булькающим потоком, и облако густого белого пара поднялось между ним и зеркалом. И тут, заполнив образовавшийся перерыв быстрыми движениями, удастся привести к согласию внутреннее время и время внешнее — подвижное, словно ртуть.

Из облака выступили острые края холодной, как мороженое, металлической пряжки ремня для бритвы; когда облако рассеялось, зеркало показало ему другое лицо — лицо, затуманенное физическим удовольствием и математическими законами, следуя которым геометрия по-новому определяла объем и конкретную форму света. Там, напротив себя, он видел лицо, биение пульса, удары собственного сердца этого другого «я», он видел его меняющееся выражение — серьезность, приветливую и насмешливую одновременно, выглядывающую из влажного стекла, которое еще удерживало в себе пар.

Он улыбнулся. (Он улыбнулся.) Он показал — самому себе — язык. (Он показал — тому, кто на самом деле, — язык.) У того, в зеркале, язык был разбухший, с желтым налетом. «У тебя неважно с желудком», — поставил он диагноз (молча — просто показал жестом) и сделал гримасу. Снова улыбнулся. (Снова улыбнулся.) Но теперь он заметил нечто глупое, искусственное и фальшивое в улыбке, которую ему вернули. Он пригладил волосы (он

пригладил волосы) правой (левой) рукой, чтобы тут же вернуть обратно виноватый взгляд (и исчезнуть). Его самого удивляло, что он стоит перед зеркалом и гримасничает, как придурок. Однако он подумал, что все перед зеркалом ведут себя именно так, и от этого возмущился еще более, поскольку тогда получалось, что весь мир состоит из придурков и он только вносит свою лепту в самое обычное придурочное дело. Восемь семнадцать.

Он знал, надо поторопиться, если он не хочет распрощаться с агентством. С агентством, которое с некоторых пор превратилось для него в место отправки на собственные ежедневные похороны.

Мыльная пена, взбитая кисточкой, превратилась в мягкую голубоватую белизну — и это вернуло ему все его тревоги. На какой-то момент мыльная жижа растеклась по лицу, заполнила паутинку артерий и облегчила работу всех жизненных механизмов... Так что, вернувшись к привычным мыслям, он решил: в намыленных мозгах скорее найдет слово, с которым хотел сравнить магазин Мабель. Пелдора. Барахло Мабель. Палдора. Приправы или аптекарские товары. Или и то и другое: Пендора.

Пены в мыльнице было уже вполне достаточно. Однако он продолжал как одержимый взбивать ее кисточкой. От созерцания мыльных пузырей он развеселился, как большой ребенок, — такое же надрывное веселье, через силу, бывает, когда пьешь дешевый ликер. Еще одно усилие в поисках нужных звуков — и слово вспыхнуло, созревшее и яростное; выплыло на поверхность густой мутной воды из его неподатливой памяти. Но и на этот раз, как раньше, разрозненные и разобщенные куски единого целого не соединялись столь точно, чтобы достичь органического единства, и он уже был готов навсегда отказаться от этого слова: Пендора!

Пора было бросить эти бесполезные поиски — оба подняли глаза, и взгляды их встретились, — его брат-близнец мягкими и точными движениями левой руки, в которой он держал намыленную кисточку, начал покрывать подбородок и щеки белоголубой прохладной пеной — он делал то же самое правой. Он отвел глаза, и геометрическое располо-

жение часовых стрелок предложило ему решение еще одной беспокоящей его теоремы: восемь восемнадцать. Всему виной его медлительность. С твердым намерением кончить бриться как можно скорее он, оттопырив мизинец, крепко взялся за бритву.

Прикинув, что побреется за три минуты, он поднял правую (левую) руку на высоту правого (левого) уха — отметил мимоходом, что нет ничего более трудного, чем бриться так, как это делает человек в зеркале. Он произвел серию сложнейших подсчетов, намереваясь вычислить скорость света, который, чтобы воспроизвести каждое его движение, почти мгновенно проделывает путь туда и обратно. Но эстет, живший в нем, — несмотря на борьбу приблизительно равных сил, что продолжалась во времени, равном квадратному корню скорости, которую он пробовал узнать, — победил математика, и мысль человека от искусства двинулась навстречу наблюдениям над лезвием, которое окрашивалось в зеленый, голубой или белый цвет в зависимости от светового луча. Быстро — оставив в покое и математика, и эстета — он провел лезвием по правой (левой) щеке до меридиана губ и с удовлетворением отметил, что левая щека изображения, окаймленная хлопьями пены, видится чисто выбранной.

Он еще не успел стряхнуть пену с лезвия, как из кухни донесся острый запах жаркого. Под языком у него зашипало, и он почувствовал, как рот наполняется легкой тонкой слюной с сильным привкусом растопленного масла. Жареные почки. Наконец-то от него отцепился приставший было магазин Мабель. Пендора. Тоже нет. Бульканье почек в соусе донеслось до его слуха, и тут же вспомнилась барабанная дробь дождя, совсем недавно, на рассвете, — так похоже по звуку. А потому надо не забыть надеть боты и плащ. Почки под соусом. В этом никакого сомнения.

Из всех его органов чувств ни один не вызывал такого сильного недоверия, как обоняние. Но над всеми пятью чувствами, в том числе и над вкусовыми ощущениями, которые радовали только слизистую оболочку рта, в тот момент главенствовала

необходимость как можно скорее закончить бритье. Это и было самой насущной необходимостью всех органов чувств. Точными и легкими движениями — математик и эстет, оба показали друг другу зубы — он повел лезвие от себя (к себе) назад (вперед), до левого (правого) уголка губ, и в это же время левой (правой) рукой поглаживал кожу, смягчая прикосновение металлического лезвия, от себя (к себе) назад (вперед) и сверху (сверху) вниз, заканчивая — оба при этом уже задыхались — одновременную для обоих работу.

И вот, уже закончив, хлопывая себя по левой щеке правой рукой, он вдруг увидел в зеркале собственный локоть. Локоть показался ему странно большим, неузнаваемым, а выше, вздрогнув, он увидел чужие глаза, тоже большие и тоже неузнаваемые, вытаращенные глаза, искавшие бритву. Кто-то пытался убить его брата. Могучей рукой. Кровь! Так всегда бывает, когда торопишься.

Он ощупал лицо пальцами — искал порез; однако пальцы не оказались запачканными кровью: искать порез дальше смысла не было. Он испугался. На его лице порезов не было, но там, в зеркале, у двойника кровь на лице была. Омерзительное чувство тревоги, что появилось нынешней ночью, в глубине его сознания становилось реальностью. Сейчас, перед зеркалом, у него снова появилось ощущение раздвоения личности. Он посмотрел на подбородок (круглый; лица их были одинаковы, неотличимы одно от другого). Эта щетина около ямки на щеке — ее нужно сбрить. Ему показалось, что торопливый жест его изображения, пожалуй, был несколько судорожным. Разве может быть, даже учитывая быстроту, с которой он побрился, — математик полностью овладел ситуацией, — что скорость света не успевает зафиксировать каждое его движение? Мог он, торопясь, опередить изображение в зеркале и побриться раньше него? А может быть, — и тут человек от искусства, после короткой борьбы, вытеснил математика, — изображение живет собственной жизнью, оно решило — чтобы жить в своем времени — закончить работу позже, чем это сделает человек во внешнем мире?

Охваченный беспокойством, он открыл горячую воду и почувствовал, как поднимается теплый густой пар, а когда стал умываться, в ушах у него зазвучало какое-то горловое бульканье. Прикосновение к коже свежестыранного, слегка шершавого полотенца вызвало у него глубокий вздох удовлетворения, словно у вымывшегося животного. Пандора! Вот это слово: Пандора.

Он с удивлением посмотрел на полотенце и в тревоге закрыл глаза, а между тем человек в зеркале рассматривал его большими удивленными глазами, и на щеке его была видна багровая царапина.

Он открыл глаза и улыбнулся (улыбнулся). Все это было уже неважно. Магазин Мабель — это ящик Пандоры.

Теплый аромат почек под соусом достиг его обоняния, на этот раз запах был очень настойчивым. И ему стало хорошо — он почувствовал, как в душе у него воцаряется благостный покой: злая собака тайников его души завиляла хвостом.

ОГОРЧЕНИЕ ДЛЯ ТРОИХ СОМНАМБУЛ

И вот она теперь там, покинутая, в дальнем углу дома. Кто-то сказал нам — еще до того, как мы принесли ее вещи: одежду, еще хранящую лесной дух, почти невесомую обувь для плохой погоды, — что она не сможет привыкнуть к неторопливой жизни, без вкуса и запаха, где самое привлекательное — это жесткое, будто из камня и извести, одиночество, которое постоянно давит ей на плечи. Кто-то сказал нам — и мы вспомнили об этом, когда прошло уже много времени, — что когда-то у нее тоже было детство. Возможно, тогда мы просто не поверили сказанному. Но сейчас, видя, как она сидит в углу, глядя удивленными глазами и приложив палец к губам, пожалуй, поняли, что у нее и вправду когда-то было детство, что она знала недолговечную прохладу дождя и что в солнечные дни от нее, как это ни странно, падала тень.

Во все это — и во многое другое — мы поверили в тот вечер, когда поняли, что, несмотря на ее пугающую слитность с низшим миром, она полностью очеловечена. Мы поняли это, когда она, будто у нее внутри разбилось что-то стеклянное, начала издавать тревожные крики; она звала нас, каждого по имени, звала сквозь слезы, пока мы все не сели рядом с ней; мы стали петь и хлопать в ладоши, как будто этот шум мог склеить разбитое стекло. Только тогда мы и поверили, что у нее когда-то было детство. Получается, что благодаря ее крикам нам что-то открылось; вспомнилось дерево и глубокая река, когда она поднялась и, немного наклонившись вперед, не закрывая лицо передником, не высморкавшись, все еще со слезами, сказала нам:

— Я никогда больше не буду улыбаться.

Мы молча, все трое, вышли в патио, может быть, потому, что нас одолевали одни и те же мысли. Может, мысли о том, что не стоит зажигать свет в доме.

Ей хотелось побыть одной — быть может, посидеть в темном углу, последний раз заплетая косу, — кажется, это было единственным, что уцелело в ней из прежней жизни после того, как она стала зверем.

В патио, окруженные тучами насекомых, мы сели, чтобы подумать о ней. Мы и раньше так делали. Мы, можно сказать, делали это каждый день на протяжении всех наших жизней.

Однако та ночь отличалась от других: она сказала тогда, что никогда больше не будет улыбаться, и мы, так хорошо ее знавшие, поверили, что кошмарный сон станет явью. Мы сидели образовав треугольник, представляя себе, что в его середине она — нечто абстрактное, неспособное даже слушать бесчисленное множество тикающих часов, отмеряющих четкий, до секунды, ритм, который обращал ее в тлен. «Если бы у нас достало смелости желать ей смерти», — подумали мы все одновременно. Но мы так любили ее безобразную и леденящую душу, подобную жалкому соединению наших скрытых недостатков.

Мы выросли давно, много лет тому назад. Она, однако, была еще старше нас. И этой ночью она могла сидеть вместе с нами, чувствуя ровный пульс звезд, в окружении крепких сыновей. Она была бы уважаемой сеньорой, если бы вышла замуж за добропорядочного буржуа или стала бы подругой достойного человека. Но она привыкла жить в одном измерении — подобная прямой линии, наверное, потому, что ее пороки и добродетели было невозможно увидеть в профиль. Мы узнали об этом уже несколько лет назад. Мы — однажды утром встав с постели — даже не удивились, когда увидели, что она совершенно неподвижно лежит в патио и грызет землю. Она тогда улыбнулась и посмотрела на нас; она выпала из окна второго этажа на жесткую глину патио и осталась лежать, негибкая и твердая, уткнувшись лицом в грязь. Позже мы поняли: единственное, что осталось неизменным, — это страх перед расстоянием, естественный ужас перед пустотой. Мы подняли ее, придерживая за плечи. Она была не одеревенелая, как нам показалось вначале. Наоборот, все в ней было мягким, податливым, будто у еще не остывшего покойника.

Когда мы повернули ее лицом к солнцу — словно поставили перед зеркалом, — глаза ее были широко открыты, рот выпачкан землей, погребальный привкус которой, должно быть, был ей известен. Она оглядела нас потухшим, бесполом взглядом, от которого создалось ощущение — я держал ее на руках, — что ее будто нет. Кто-то сказал нам, что она умерла; но осталась ее холодная, спокойная улыбка — она всегда так улыбалась, когда по ночам бродила без сна по дому. Она сказала, что не понимает, как добралась до патио. Сказала, что ей стало жарко, что она услышала назойливое, пронзительное стрекотание сверчка, который, как ей казалось — так она сказала, — хочет разрушить стену ее комнаты, и что, прижавшись щекой к цементному полу, она вспомнила все воскресные молитвы.

Однако мы знали, что она не могла вспомнить ни одной молитвы, поскольку мы уже знали, что она давно потеряла представление о времени, и тут она сказала, что уснула, поддерживая стену комнаты изнутри, тогда как сверчок толкал ее снаружи, и что она глубоко спала, когда кто-то, взяв ее за плечи, отодвинул стену и повернул ее лицом к солнцу.

В ту ночь, сидя в патио, мы поняли, что она уже не будет улыбаться. Может быть, нам заранее стало горько от ее равнодушной серьезности, ее своевольной и необъяснимой привычки жить в углу. Нам стало горько, как в тот день, когда мы впервые увидели, что она сидит в углу, вот как сейчас; и мы слышали, как она говорит, что не будет больше бродить по дому. Сначала мы не поверили ей. Мы столько месяцев подряд видели, как она ходит по комнатам в любое время суток, держа голову прямо и опустив плечи, не останавливаясь и никогда не уставая. По ночам мы слышали неясный шорох ее шагов, когда она проходила меж двух мраков, и случалось, не раз, лежа в кроватях, просыпались, слушая ее таинственную поступь, и мысленно следили за ней по всему дому. Однажды она сказала, что когда-то видела сверчка внутри круглого зеркала, погруженного, утопленного в его твердую прозрачность, и что она проникла внутрь зеркальной поверхности, чтобы достать его. Мы не поняли, что

она хотела этим сказать, но смогли убедиться, что одежда на ней мокрая и прилипает к телу, будто она только что купалась в пруду. Не найдя объяснения этому, мы решили покончить с насекомыми в доме: уничтожить причину мучившего ее наваждения.

Мы вымыли стены, велели подрезать кустарник в патио, и получилось так, будто мы счистили грязь с тишины ночи. Но мы уже не слышали, как она ходит, как говорит о сверчках, — до того дня, когда, поев в последний раз, она оглядела всех нас, села, не отрывая от нас взгляда, на цементный пол и сказала нам: «Я буду сидеть здесь»; и мы содрогнулись, потому что увидели, как она становится чем-то, что очень сильно похоже на смерть.

С тех пор прошло много времени, и мы уже привыкли видеть ее сидящей там, на полу, с наполовину расплетенной косой, будто она расплетала ее, уйдя в свое одиночество, и там затерялась, несмотря на то что была нам видна. И потому мы поняли, что она больше никогда не будет улыбаться; она сказала это так же уверенно и убежденно, как когда-то — что она уже не будет ходить. У нас появилась уверенность, что пройдет немного времени и она скажет нам: «Я больше не буду видеть» или: «Я больше не буду слышать», и мы поймем тогда, что в ней достаточно человеческого, чтобы по собственной воле погасить свою жизнь, и что одновременно органы чувств отказывают ей, один за другим, и так будет до того дня, когда мы найдем ее прислонившейся к стене, будто она заснула впервые в жизни; может быть, это произойдет еще не скоро, но мы трое, сидя в патио, хотели в ту ночь услышать ее пронзительный и неумолчный плач, похожий на звон бьющегося стекла, чтобы хоть тешить себя иллюзией, что в доме родился ребенок (он или она). Нам хотелось верить, что она родилась еще раз.

НОЧЬ, КОГДА ХОЗЯЙНИЧАЛИ ВЫПИ

Мы втроем сидели за стойкой, когда кто-то опустил монету в щель автомата и началась нескончаемая, на всю ночь, пластинка. У нас не было времени подумать о чем бы то ни было. Это произошло быстрее, чем мы вспомнили бы, где же мы встретились, и быстрее, чем обрели бы способность ориентироваться в пространстве. Один из нас вытянул руку вперед, провел по стойке (мы не видели руку, мы слышали ее), наткнулся на стакан и замер, положив обе руки на твердую поверхность. Тогда мы стали искать друг друга в темноте и нашли — соединили все тридцать пальцев на поверхности стойки. Один сказал:

— Пошли.

И мы поднялись, будто ничего не случилось. У нас все еще не было времени встревожиться.

Когда мы проходили по коридору, то слышали музыку где-то близко, прямо перед нами. Пахло печальными женщинами, они сидели и ждали. Пахло длинным пустым коридором — он тянулся перед нами, пока мы шли к дверям, чтобы выйти на улицу, но тут мы почувствовали терпкий запах женщины, что сидела у дверей. И мы сказали:

— Мы уходим.

Женщина ничего не ответила. Мы услышали скрип кресла-качалки — кресло качнулось назад, когда женщина встала. Услышали звук шагов по расштаннанным половицам; потом звук ее шагов повторился — когда она возвращалась на прежнее место, после того как дверь, скрипнув, закрылась за нашими спинами.

Мы обернулись. Там, за нами, воздух загустел — приближался рассвет-невидимка, и чей-то голос сказал:

— Отойдите-ка, дайте мне пройти.

Мы попятнулись. А голос снова сказал:

— Они все еще торчат у дверей!

И только когда мы пошли сразу в разные стороны, и когда голос стал слышаться везде, мы сказали:

— Нам не выйти отсюда. Выпи выклевали нам глаза.

Потом мы услышали: открылось несколько дверей. Один из нас разжал руки, отошел, и мы услышали: он пробирается в темноте, покачиваясь, натываясь на какие-то предметы, окружавшие нас. И он сказал откуда-то из темноты:

— Должно быть, мы почти пришли. Здесь пахнет сундуками, набитыми барахлом.

Мы почувствовали: он снова взял нас за руки; мы прижались к стене, и тогда другой голос прошел мимо нас, но уже в другом направлении.

— Это, наверное, гробы, — сказал один из нас.

Тот, что был в самом углу и чье дыхание теперь доносилось до нас, сказал:

— Это сундуки. Я с детства знаю запах сундуков, набитых одеждой.

Тогда мы двинулись туда. Пол был мягкий и гладкий, как утоптанная земля. Кто-то вытянул руку. Мы почувствовали прикосновение к чему-то продолговатому и живому, но противоположной стены уже не было.

— Это какая-то женщина, — сказали мы.

Тот, который говорил про сундуки, сказал:

— Мне кажется, она спит.

Тело женщины изогнулось под нашими руками, вздрогнуло, мы почувствовали, как оно ускользает, но не потому, что увертывается от наших прикосновений, а потому, что как бы перестает существовать. Однако спустя мгновение, когда мы напряженно и неподвижно стояли плечом к плечу, мы услышали голос женщины.

— Кто здесь ходит? — сказала она.

— Это мы, — ответили мы, не шелохнувшись.

Послышалось какое-то движение на постели, потом скрип и шарканье ног, пытающихся нащупать в темноте шлепанцы. Тут мы представили себе, что женщина села и смотрит на нас, еще не окончательно проснувшись.

— Что вы здесь делаете? — сказала она.

И мы сказали:

— Не знаем. Выпи выклевали нам глаза.

Тогда она сказала:

— Я что-то слышала об этом. В газетах писали: трое мужчин пили пиво в каком-то патио, где было пять-шесть выпей. Семь выпей. И один из мужчин стал подражать голосу выпы. Плохо то, что час был уже поздний, — сказала она. — И вот эти твари прыгнули на стол и выклевали им глаза.

Она сказала, что так было написано в газетах, но никто в это не поверил.

Мы сказали:

— Если в патио еще были люди, они должны были видеть выпей.

И женщина сказала:

— Были. На другой день в патио набилось полно народу, но хозяйка уже отнесла выпей в другое место.

Когда мы повернулись в другую сторону, женщина замолчала. Там снова была стена. Стоило нам повернуться, мы наталкивались на стену. Вокруг нас, приближаясь к нам, повсюду и всегда была стена. Кто-то из нас снова разжал руки. Мы услышали: он снова что-то ощупывает, шарит по полу и говорит:

— Не пойму, куда девались сундуки. По-моему, мы оказались где-то в другом месте.

И мы сказали:

— Иди сюда. Тут кто-то есть, рядом с нами.

Мы услышали: он приближается. Почувствовали, он подошел к нам, и снова ощутили его теплое дыхание на своих лицах.

— Вытяни руку вон туда, — сказали мы ему. — Там кто-то, кто знает нас.

Должно быть, он вытянул руку; должно быть, подошел куда мы ему указывали, потому что через минуту вернулся и сказал:

— Мне кажется, там какой-то мальчик.

И мы сказали:

— Хорошо, спроси его, знает ли он нас.

Он спросил. И мы услышали в ответ равнодушный, бесцветный голос мальчика:

— Да, я вас знаю. Вы — те трое, которым выпы выклевали глаза.

Тогда послышался голос взрослого человека. Женский голос, который, казалось, шел из-за закрытой двери:

— Ты снова разговариваешь сам с собой.

Детский голос беззаботно ответил:

— Нет. Тут снова люди, которым выпы выклевали глаза.

Скрипнула дверь, и затем вновь послышался женский голос — уже ближе, чем в первый раз.

— Отведи их домой, — сказал голос.

И мальчик сказал:

— Но я не знаю, где они живут.

И женский голос сказал:

— Не выдумывай. С той ночи, как выпы выклевали им глаза, все знают, где они живут.

И потом она заговорила другим тоном, как если бы обращалась к нам:

— Все дело в том, что никто не хочет в это поверить; говорят, это очередная «утка» — чтобы раскупали газету. Никто не видел выпей.

И каждый из нас сказал:

— Но даже если я выйду на улицу с остальными слепцами, никто не поверит мне.

Мы стояли не шевелясь, не двигались, прислонившись к стене, слушая женщину. Она сказала:

— Но если с вами вместе выйдет мальчик — это другое дело. Разве не поверят словам ребенка?!

Детский голос перебил:

— Если я выйду на улицу вместе с ними и скажу: вот те самые люди, которым выпы выклевали глаза, — мальчишки забросают меня камнями. В городе говорят, что такого не бывает.

Наступила тишина. Затем дверь закрылась, и мальчик снова заговорил:

— И потом, я сейчас занят — читаю «Терри и пираты».

Кто-то сказал нам на ухо:

— Я уговорю его.

И пошел туда, откуда слышался голос ребенка.

— Прекрасно, — сказал этот кто-то. — Так расскажи нам хотя бы, что произошло с Терри на этой неделе.

Нам показалось, что он пытается завоевать доверие мальчика. Но тот ответил:

— Мне это неинтересно. Мне нравится только рассматривать картинки.

— Терри оставили в лабиринте, — сказали мы.

И мальчик сказал:

— Это было в пятницу. А сегодня воскресенье, и мне интересно только рассматривать картинки. — Он сказал это бесстрастно, равнодушно, отчужденно.

Когда тот, другой, вернулся, мы сказали:

— Вот уже три дня, как мы потерялись, и с тех пор мы так и не отдыхали.

И тот сказал:

— Хорошо. Давайте немного отдохнем, только не будем разнимать рук.

Мы сели. Нежаркое невидимое солнце стало пригревать нам плечи. Но даже солнце оставило нас равнодушными. Мы где-то сидели, потеряв представление о расстоянии, времени, направлении. Мимо нас прошло несколько голосов.

— Выпи выклевали нам глаза, — сказали мы.

И чей-то голос сказал:

— Эти люди приняли всерьез то, что было написано в газетах.

Голоса исчезли. Мы продолжали сидеть плечо к плечу, надеясь узнать по голосам и запахам идущих мимо нас знакомых. Солнце уже напекло нам головы. И тогда кто-то сказал:

— Пойдемте снова к стене.

И остальные, продолжая сидеть, подняв голову к невидимому сиянию, ответили:

— Нет, еще рано. Подождем, когда солнце станет бить нам прямо в лицо.

ДЕНЬ ПОСЛЕ СУББОТЫ

Привычное течение жизни нарушилось в июле, когда сеньора Ребека, печальная вдова, жившая в огромном доме с двумя галереями и девятью спальнями, обнаружила, что проволочные сетки на окнах погнуты так, словно в них швыряли камнями с улицы. Сначала она увидела погнутые сетки на окнах в спальне, где отдыхала, и подумала, что об этом надо будет потолковать с Архенидой, служанкой, которая с тех пор, как умер ее муж, стала ее доверенным лицом. Потом, перебирая старые вещи (сеньора Ребека давно уже ничем другим не занималась), увидела, что оконные проволочные сетки повреждены не только в спальне, но и во всем доме. Вдова обладала традиционным чувством собственной значительности, быть может, унаследованным ею от прадеда с отцовской стороны, креола, который во время Войны за независимость сражался на стороне роялистов, а затем совершил весьма нелегкое путешествие в Испанию с единственной целью посетить дворец Сан-Ильдефонсо, построенный Карлом III. Одним словом, когда сеньора Ребека обнаружила, в каком состоянии находятся проволочные сетки на окнах всех комнат ее дома, она уже и не думала толковать об этом с Архенидой; она надела соломенную шляпу с бархатными цветочками и отправилась в муниципалитет с тем, чтобы заявить о нападении на ее дом. Но, подойдя к дому власти, увидела, что сам алькальд, без рубашки, волосатый, крепкого сложения (это казалось ей проявлением животного начала), занят починкой проволочных сеток муниципалитета, поврежденных так же, как и ее собственные.

Сеньора Ребека направилась в грязное помещение, где все было перевернуто вверх дном, и первое, что бросилось ей в глаза, — это множество мертвых птиц, лежавших на письменном столе. И тут она почувствовала, что задыхается — отчасти от жары,

отчасти от возмущения, которое вызвали у нее поврежденные проволочные сетки. Она даже не испугалась, хотя мертвые птицы, лежащие на письменном столе, — зрелище, которое не каждый день увидишь. Ее не шокировало и явное унижение представителя власти, забравшегося на лестницу и чинившего металлические сетки на окнах с помощью мотка проволоки и отвертки. Сейчас сеньора Ребека думала только о сохранении своего собственного достоинства, которое было оскорблено нападением на ее проволочные сетки, и в своем ослеплении она даже не связала факт нападения на ее окна с фактом нападения на окна муниципалитета. Сохраняя скромное величие, она остановилась в двух шагах от двери и, опершись на длинную, изукрашенную ручку зонтика, сказала:

— Мне необходимо подать жалобу.

Стоя на верхней ступеньке лестницы, алькальд повернул к ней лицо, налитое от жары кровью. На его лице ничего не отразилось, хотя появление вдовы в его кабинете было делом необычным. С мрачной небрежностью он продолжал отцеплять поврежденную сетку и задал вопрос:

— В чем дело?

— Дело в том, что мальчишки повредили проволочные сетки на моих окнах.

Тут алькальд снова устремил на нее взор. Он внимательно разглядывал ее всю — от искусно сделанных бархатных цветочков на шляпе до туфель цвета старого серебра, — так разглядывал, словно видел ее впервые в жизни. Не отводя от нее глаз, он осторожно спустился с лестницы и, когда ноги коснулись пола, уперся рукой в бок и бросил отвертку на стол.

— Это не мальчишки, сеньора, — сказал он. — Это птицы.

И тут она связала все воедино — мертвых птиц на письменном столе, человека на лестнице и поврежденные сетки в ее спальне. Она вздрогнула, представив, что весь ее дом полон мертвых птиц.

— Птицы! — воскликнула она.

— Да, птицы, — подтвердил алькальд. — Странно, что вы не поняли этого: ведь уже три дня перед

нами стоит эта проблема — проблема птиц, которые разбивают окна, чтобы умереть в доме.

Когда сеньора Ребека покинула муниципалитет, ей стало стыдно. И немного досадно оттого, что Архенида, приносящая все уличные слухи, ни разу, однако, не сказала ей о птицах. Она раскрыла зонтик — ее слепило сияние неизбежно наступающего августа — и, когда шла по раскаленной, пустынной улице, у нее возникло впечатление, что из спален всех домов исходит сильный, пронизывающий, резкий запах мертвых птиц.

То был один из последних июльских дней, и никогда еще в городке не было так жарко. Но жители не обращали на жару внимание: им не давала покоя повальная гибель птиц. Несмотря на то что это поразительное явление не оказало серьезного влияния на жизнь городка, тем не менее большинство жителей с начала августа пребывало в ожидании, во что все это выльется. Но к этому большинству не принадлежал его преподобие Антонио Исабель дель Сантисимо Сакраменто дель Алтар Кастаньеда и Монтеро — кроткий приходской священник, который в свои девяносто четыре года трижды видел дьявола и который, однако, был единственным человеком, кто увидел мертвых птиц и поначалу не придавал этому никакого значения. В первый раз он обнаружил мертвую птицу в ризнице — это было во вторник, после обедни — и подумал, что даже сюда ее ухитрился затащить какой-то уличный кот. Второй раз он увидел мертвую птицу в среду — на сей раз у себя дома, в коридоре — и носком ботинка отбросил ее на улицу, подумав при этом: «Лучше бы этих котов вовсе не было».

Но в пятницу он пришел на железнодорожную станцию и увидел третью мертвую птицу на той самой скамейке, на которую собирался сесть. Словно молния пронзила его мозг; он схватил птицу за лапки и поднес ее к глазам; он вертел ее, разглядывал, затем с волнением подумал: «Черт возьми, а ведь это третья за неделю». С этих пор он начал отдавать себе отчет, что происходит в городке; впрочем, весьма неопределенно — частично благодаря столь почтенному возрасту, а частично потому, что

уверял, будто трижды видел дьявола (в городке это считали маловероятным, поскольку отец Антонио Исабель пользовался у прихожан репутацией человека доброго, миролюбивого и услужливого, но вечно витающего в облаках).

Итак, Антонио Исабель понял, что с птицами что-то происходит, но даже и тут ему не пришло в голову, что это было чрезвычайно серьезно и потому требовало специальной проповеди, посвященной такому событию. Он был первым, кто почувствовал запах. Он почувствовал его в ночь на пятницу — он проснулся в тревоге, его легкий сон был прерван резким, тошнотворным запахом, но он не знал, чему приписать это: ночному кошмару или же новому и оригинальному средству, к которому прибегнул сатана, дабы смутить его сон. Он начал принахиваться, повернулся на другой бок и подумал, что этот запах может послужить ему темой проповеди. «Это может быть волнующая проповедь о той ловкости, с какой сатана проникает в человеческую душу, используя одно из пяти чувств», — подумал священник.

На следующее утро, проходя по паперти перед началом обедни, он впервые услышал разговор о мертвых птицах. Он думал в это время о своей проповеди, о сатане и о том, что человек может согрешить и обонянием, как вдруг услышал, что дурной ночной запах исходил от умерших за эту педелю птиц, и тут в голове у него все перемешалось — евангельские изречения, дурной запах и мертвые птицы. Таким образом, в воскресенье ему пришлось сочинить речь о милосердии — речь, которую он и сам хорошенько не понял, — и затем он забыл о связи, существующей между дьяволом и пятью чувствами.

Однако где-то в глубине сознания все эти события не могли не остаться. Так бывало с ним всегда, не только в семинарии, где он учился семьдесят с лишним лет тому назад, но и — в весьма своеобразной форме — теперь, когда ему было уже за девяносто. Однажды — это было еще в семинарские годы — ранним вечером (шел дождь, но ветра не было) он читал Софокла в подлиннике. Когда дождь пере-

стал, он посмотрел в окно на унылые поля, на омытый и обновленный вечер и начисто забыл о греческом театре и о классиках, которых он путал и которым дал общее название: «Старички былых времен». Лет тридцать-сорок спустя — это было тоже вечером, только не было дождя, — он заехал в одну деревню; шел по мощеной деревенской площади и вдруг неожиданно для самого себя продекламировал отрывок из трагедии Софокла, которую читал тогда в семинарии. На той же неделе у него состоялась долгая беседа о «Старичках былых времен» с папским викарием, говорливым и впечатлительным стариком, любителем сложных загадок, предназначенных для эрудитов; должно быть, когда-то он их сам придумал, а годы спустя они обрели популярность под названием кроссвордов.

Благодаря встрече с папским викарием в душе у нашего священника вновь вспыхнула его давняя глубокая любовь к древнегреческим классикам. В том же году, на Рождество, он получил официальное письмо. И если бы к тому времени, о котором идет речь, за ним уже не установилась репутация человека с чересчур богатым воображением, человека неустрашимого в толковании текстов и несколько нелогичного в проповедях, его бы произвели в епископы.

Но он похоронил себя в городке задолго до войны 85-го года, и к тому времени, когда птицы стали умирать, залетая в дома, прихожане уже несколько лет обращались в епархию с просьбой, чтобы отца Антонио Исабель заменили другим священником, помоложе; просьбы участились в то время, когда наш священник заговорил о том, что видел дьявола. С тех пор его перестали принимать всерьез, но он почти не видел такого отношения прихожан к нему, несмотря на то что и теперь еще без помощи очков читал молитвенник, напечатанный мелким шрифтом.

Привычки его были неизменны. На вид он был маленький, невзрачный, ширококостный, со спокойными движениями; звук его голоса умиротворял в разговоре, но наводил сон, когда он говорил с амвона. До обеда он обыкновенно сидел у себя в

спальне и пускал пузыри слюны, откинувшись на складном парусиновом стуле, в одних широких саржевых панталонах, подвязанных у щиколоток.

Он служил обедни — в этом и заключалась почти вся его работа. Два раза в неделю бывал в исповедальне, но уже много лет к нему на исповедь не приходил никто. Он простодушно думал, что его прихожане утратили веру в соответствии с современными обычаями, и, таким образом, мог бы расценивать как явление весьма своевременное тот факт, что он трижды видел дьявола, но он знал, что люди мало верили его рассказам, да и сам понимал, что его слова о дьяволе звучат не слишком убедительно. Он сам не удивился бы, обнаружив, что уже умер, не удивился бы не только в последние пять лет, но даже в те необычайные моменты, когда он увидел двух первых мертвых птиц. Однако, когда он обнаружил третью мертвую птицу, он стал чуть ближе к реальной жизни; во всяком случае, он стал думать о мертвой птице, которую нашел на станционной скамейке.

Он жил в двух шагах от церкви, в маленьком домике без проволочных сеток на окнах; в домике была галерея, идущая вдоль стен, и две комнаты, одна из которых служила ему кабинетом, а другая спальней. Пожалуй, в минуты, когда ясность ума покидала его, он полагал, что счастье на земле достижимо лишь тогда, когда не очень жарко, и эта мысль вносила некоторое смятение в его душу. Он любил блуждать по опасным тропам метафизики. Этим он занимался по утрам, сидя в галерее с полураскрытой дверью, закрыв глаза и расслабившись. Однако сам не замечал того, что уже по меньшей мере три года в минуты размышлений он не думал ни о чем.

Ровно в двенадцать в галерее появлялся мальчик с подносом, на котором всегда были одни и те же блюда: бульон с горсткой маниоки, рис, тушеное мясо без лука, жареная баранина или маисовая булочка и немного чечевицы, к которой отец Антонио Исабель никогда не притрагивался.

Мальчик ставил поднос рядом со стулом, на котором, откинувшись, сидел священник, но тот не открывал глаза до тех пор, пока не затихали шаги

уходящего мальчика. Поэтому в городке считали, что у отца Антонио Исабель сиеста была перед обедом (это тоже казалось странностью); истина же заключалась в том, что он не спал нормальным сном даже по ночам.

Ко времени, о котором идет речь, его жизнь состояла из самых простых действий. Он обедал, не поднимаясь со своего парусинового стула, не снимая блюд с подноса, не пользуясь ни тарелками, ни ножом, ни вилкой, а только той ложкой, которой ел суп. После еды вставал, слегка смачивал голову водой, надевал белую сутану, испещренную большими квадратными заплатами, и отправлялся на станцию, как раз в часы сиесты, когда весь городок ложился спать. Уже несколько месяцев он ходил по этому маршруту, шепча молитву, которую сложил сам, когда дьявол явился ему в последний раз. Однажды в субботу — спустя девять дней после того, как птицы начали умирать, — отец Антонио Исабель отправился на станцию, и вдруг к его ногам упала умирающая птица — это было как раз напротив дома сеньоры Ребеки. От птичьей головки исходило яркое сияние, и священник понял, что эту птицу, в отличие от других птиц, еще можно спасти. Он взял ее в руки и постучался в дверь к сеньоре Ребеке в ту минуту, когда она расстегивала корсаж, намереваясь отойти к послеобеденному сну.

Сидя у себя в спальне, вдова услышала стук и инстинктивно перевела взгляд на проволочную сетку. Уже два дня в спальню не попадала ни одна птица. Однако сетка была раздергана. Сеньора Ребека сочла починку сетки лишним расходом и решила подождать, пока не кончится это птичье нашествие, действовавшее ей на нервы. Сквозь гудение электрического вентилятора она различила стук в дверь и с раздражением вспомнила, что Архенида спит во время сиесты в самой дальней спальне, выходящей в коридор. Сеньоре Ребеке даже не пришло в голову спросить себя, кто может побеспокоить ее об эту пору. Она застегнула корсаж, толкнула дверь с проволочной сеткой, торжественно прошла по коридору направо, миновала зал, набитый мебелью и разными безделушками, и, прежде чем открыть дверь, увиде-

ла сквозь металлическую сетку печального отца Антонио Исабель с грустными глазами и птицей в руках; вдова еще не успела открыть дверь, как он сказал:

— Я не сомневаюсь, что, если мы смочим ей голову водой и накроем тотумой, она оживет.

И, открывая дверь, сеньора Ребека почувствовала, что слабеет от ужаса.

Священник не пробыл в ее доме и пяти минут. Сеньора Ребека полагала, что краткость визита — это ее заслуга, но в действительности так сделал сам священник. Если бы вдова могла о чем-либо подумать в этот момент, она вспомнила бы, что за тридцать лет жизни в городке священник ни разу не пробыл у нее больше пяти минут. Ему казалось, что в нагромождении вещей в зале явственно виден алчный дух хозяйки, а ведь она была в родстве с епископом — родстве отдаленном, но общепризнанном. Кроме того, существовала легенда (или подлинный рассказ) о семье сеньоры Ребеки, которую — в этом священник был уверен — не желали знать в резиденции епископа; и потому полковник Аурелиано Буэндия, двоюродный брат вдовы, как-то заметил, что в этом веке епископ ни разу не посетил городок, дабы избежать встречи со своей родственницей. Правдив ли, нет ли был этот рассказ или это была просто легенда — неизвестно; истина же заключалась в том, что отец Антонио Исабель дель Сантисимо Сакраменто дель Алтар неугодно чувствовал себя в доме сеньоры Ребеки, единственная обительница коего отнюдь не проявляла милосердия и исповедовалась только раз в году, причем, когда священник пытался узнать что-то конкретное о загадочных обстоятельствах смерти ее супруга, давала весьма уклончивые ответы. И если сейчас отец Антонио Исабель находился в этом доме, поджидая, когда вдова принесет стакан воды, чтобы смочить головку умирающей птицы, то лишь потому, что ситуация, в которую он попал, требовала решительных действий.

Пока вдова ходила за водой, священник, сидя в роскошном кресле-качалке, изукрашенном деревянной резьбой, почувствовал в доме какую-то стран-

ную влажность, влажность, которая не исчезла с тех самых пор, когда раздался пистолетный выстрел — это было сорок с лишним лет тому назад — и Хосе Аркадио Буэндиа, брат вышеупомянутого полковника, повалился ничком, шурша пряжками и шпорами о гетры, которые он только что снял и которые еще хранили тепло его кожи.

Когда сеньора Ребека вернулась в гостиную, она увидела, что Антонио Исабель сидит в кресле-качалке все с тем же мрачным видом, который так ее пугал.

— Господь дает жизнь любой твари точно так же, как и человеку, — произнес священник.

При этом он не вспомнил о Хосе Аркадио Буэндиа. Не вспомнила о нем и вдова. С тех пор как падре с амвона объявил, что ему троекратно являлся дьявол, она привыкла не верить словам священника. Не обращая на него внимания, она взяла птицу, окунула ее в воду, а затем встряхнула. Священник заметил, что все это она проделала безжалостно и небрежно, с абсолютным равнодушием к птице.

— Вы не любите птиц, — сказал он мягко, но убежденно.

Вдова бросила на него нетерпеливый и враждебный взгляд.

— Если бы я и любила их прежде, — сказала она, — я возненавидела бы их теперь, когда им приспичило помирать в домах!

— Да, много их погибло, — подтвердил он. Могло показаться, что его соглашательский тон — лишь видимость согласия.

— А хоть бы и все! — отвечала вдова. И, с отворачиванием сжимая птицу в руке и сажая ее под тотуму, прибавила: — Мне вообще было бы плевать на них, если бы они не рвали мои сетки.

И он подумал, что никогда еще не видел человека с таким очерстевшим сердцем. Минуту спустя, взяв птицу в руки, священник понял, что крошечное, беззащитное тельце мертво. Тогда он забыл обо всем — о сырости в доме, о царившей в нем алчности, о тошнотворном запахе пороха, исходившем от трупа Хосе Аркадио Буэндиа, — и понял божественную истину, с которой жил с начала этой недели. И вот, когда вдова

смотрела ему вслед, — он шел с мертвой птицей в руках, и у него было грозное выражение лица, — он стал свидетелем чуда, свидетелем откровения: над городом лил дождь мертвых птиц, а он, служитель алтаря, он, избранник Господень, мог быть счастлив только, когда не было жарко, он совершенно забыл Апокалипсис.

В этот день он, как всегда, отправился на станцию, хотя и не отдавая себе отчета в своих действиях. Он смутно понимал, что в мире что-то происходит, но чувствовал, что отупел, поглупел, что не в состоянии понять происходящее. Сидя на станционной скамейке, он пытался припомнить, говорится ли в Апокалипсисе о дожде из мертвых птиц, но оказалось, что он начисто забыл его. Внезапно он понял, что задержался у сеньоры Ребеки и потому пропустил поезд; он вытянул шею и сквозь пыльные треснувшие оконные стекла вокзала увидел, что на часах в кабинете начальника станции было без двенадцати минут час. Вернувшись к своей обычной скамейке, он почувствовал, что задыхается. В эту минуту он вспомнил: сегодня суббота. Блуждая в темном тумане своей души, он обмахивался веером, сплетенным из пальмовых листьев. А затем посмотрел на пуговицы сутаны, пуговицы своих ботинок, а также на длинные, облегающие саржевые брюки, и его охватила тревога, когда он понял, что никогда в жизни ему еще не было так жарко.

Не вставая со скамейки, он расстегнул ворот сутаны, вытащил из рукава платок и отер налившееся кровью лицо; тут, в момент озарения, у него мелькнула мысль: быть может, все, что он сейчас видит, — это предвестник землетрясения. Когда-то он читал об этом в какой-то книге. Однако небо было безоблачным; с этого прозрачного голубого неба загадочным образом исчезли все птицы. Он ощущал и жару, и прозрачность, но мгновенно позабыл о мертвых птицах. Сейчас он думал о другом — о том, что может вызвать грозу. Однако небо было чистым и ясным, словно это небо — над другим городком, далеким и не таким, как этот, над городком, где никогда не бывает жары, и словно не его, а другие глаза глядели на это небо. Потом он посмотрел поверх пальмовых и ржавых цинковых крыш на север и

увидел медленную, молчаливую, спокойную стаю грифов над мусорной кучей.

В силу какой-то странной ассоциации в нем ожили в эту минуту чувства, которые однажды в воскресенье он испытал в семинарии незадолго до получения первых наград. Ректор разрешил ему пользоваться своей личной библиотекой, и он целые часы (особенно по воскресеньям) проводил, погружившись в чтение пожелтевших книг, пахнущих старой древесиной, с пометками на латыни, сделанными мелкими и острыми каракулями ректора. В одно из воскресений он читал целый день; неожиданно в комнату вошел ректор и, смутившись, поспешно поднял почтовую открытку, явно выпавшую из книги, которую читал отец Антонио Исабель. К волнению вышестоящего лица он отнесся с вежливым равнодушием, но успел прочитать то, что было на открытке. Там была только одна фраза, написанная фиолетовыми чернилами, четким и прямым почерком: «Madame Ivette est morte cette nuit»¹. Теперь, более чем полвека спустя, он увидел грифов над заброшенным городком и вспомнил грустное впечатление, которое производил ректор, молчаливо сидевший напротив него в сумерках, взволнованно переводя дыхание.

Под впечатлением этой ассоциации он уже не ощущал жары; как раз наоборот — он чувствовал колющий холод в паху и в ступнях. Его охватил ужас, хотя он и не вполне понимал почему; он заблудился в чаще беспорядочных мыслей и чувств, среди которых никак было не различить тошнотворное ощущение при мысли о копыте сатаны, увязнувшем в грязи, и о множестве мертвых птиц, падающих на землю, в то время как он, Антонио Исабель, оставался равнодушным к этому явлению. Он встал, изумленно поднял руку, словно для призыва, ушедшего в пустоту, и в ужасе закричал:

— Агасфер!

В эту минуту раздался свисток паровоза. В первый раз за много лет священник его не услышал. Он лишь увидел, как поезд, окутанный густым облаком

¹ Сегодня ночью мадам Иветта умерла (фр.).

дыма, подходит к станции, и услышал, как сыплется град угольной пыли на листы заржавленного цинка. Но все это было словно в далеком непонятном сне, от которого он по-настоящему не пробуждался весь день, даже после четырех, когда уже кончил звонить в колокол, возвещавший о грозной проповеди, которую должен был произнести в воскресенье. Восемь часов спустя к нему пришли: его просили причастить и соборовать умирающую женщину.

Так что священник не узнал, кто приехал в тот день на поезде. Он с незапамятных времен смотрел, как проходят четыре выцветших, обветшавших вагона, но не припоминал, чтобы, по крайней мере за последние годы, хоть кто-то вышел из них и остался здесь. Раньше было иначе: целый вечер он мог смотреть на проходящий поезд, груженный бананами; сто сорок вагонов все шли и шли, пока наконец уже совсем ночью не проходил последний вагон, на ступеньке которого стоял человек с зеленым фонарем в руке. Тогда становился виден городок по ту сторону железной дороги — там уже зажигались огни, — и ему казалось, что, хотя он только смотрит на поезд, поезд увозит его в другой городок. Быть может, поэтому и вошло у него в обычай ежедневно ходить на станцию; он продолжал ходить туда и после того, как расстреляли работников с плантациями и банановым плантациям, а вместе с ними и поездам в сто сорок вагонов, пришел конец; остался только запыленный желтый поезд, который никого не привозил и не увозил.

Но в эту субботу кто-то все же приехал. Когда отец Антонио Исабель уходил со станции, тихий молодой человек, в котором не было ничего примечательного, разве что голодные глаза, увидел священника из окна последнего вагона в ту самую минуту, когда вспомнил, что ничего не ел со вчерашнего дня. Он подумал: «Если здесь есть священник, значит, должна быть и гостиница». Он выпрыгнул из вагона, перешел улицу, опаленную звенящим августовским солнцем, и вошел в прохладный полумрак дома, стоявшего напротив станции; в доме звучала старая граммофонная пластинка. Обоняние молодого чело-

века, которое обострил двухдневный голод, подсказало ему, что это и есть гостиница. И вошел он туда, не заметив вывески: «Гостиница Макондо».

Хозяйка гостиницы была на шестом месяце. Кожа у нее была цвета горчицы, она как две капли воды была похожа на свою мать, когда та была беременна ею. Молодой человек попросил подать ему еду «как можно скорей», но хозяйка подала ему тарелку супа с голой костью и мякоть зеленого банана, и не думая торопиться. В этот момент раздался свисток паровоза. Окутанный теплым, вкусным паром, поднимавшимся от тарелки с супом, молодой человек вдруг понял, какое расстояние отделяет его от станции, и тотчас его охватила паника, которая овладевает всеми нами, когда мы опаздываем на поезд.

Он побежал на станцию. Добежал до дверей на улицу, но на пороге понял, что на поезд уже опоздал. Он снова сел за стол, позабыв о том, что голоден; подле граммофона увидел девушку, которая смотрела на него; жалости в ее глазах не было: она глядела злобно, как собака, которую дергают за хвост. В первый раз за весь день он снял шляпу, зажал ее между коленей и снова принялся за еду. Когда встал из-за стола, его, казалось, уже не беспокоило ни то, что ушел поезд, ни перспектива провести конец недели в этом городке, название которого он и не подумал узнать. Он сидел в углу зала, откинувшись на прямую спинку жесткого стула, и пробыл в такой позе довольно долго, не слушая пластинок; наконец девушка, которая ставила их, сказала:

— В галерее вам будет попрохладнее.

Он почувствовал себя не в своей тарелке. Ему всегда было трудно начинать разговор с незнакомыми людьми. Для него было нестерпимо смотреть им в глаза, и, когда непременно надо было вступать с ними в разговор, он невольно говорил не то, что думал.

— Да, — ответил он.

И почувствовал легкий озноб. Он попытался покачаться на стуле, забыв о том, что это не кресло-качалка.

— Здешние жители выносят стулья в галерею — там прохладнее, — сказала девушка.

А он, слушая ее, с тоской понял, что ей очень хочется поговорить. Он отважился взглянуть на нее в ту минуту, когда она заводила граммофон. Казалось, она сидела здесь уже несколько месяцев, а может, и несколько лет, и не проявляла ни малейшего желания сдвинуться с места. Она заводила граммофон, однако, внутренне вся была устремлена к нему. Она улыбалась.

— Спасибо, — сказал он, делая попытку встать и стараясь держаться непринужденно. Девушка не сводила с него глаз.

— А шляпу оставляют на вешалке, — прибавила она.

Тут он почувствовал, что уши у него горят. Он вздрогнул при мысли о подобном способе женщин добиваться своего. Он чувствовал себя неудобно, был смущен, и когда вспомнил, что поезд ушел, его снова охватила паника. Но тут в зал вошла хозяйка.

— Что это он делает? — спросила она.

— Переносит стул в галерею, как все добрые люди, — отвечала девушка.

Ему показалось, что она произнесла это с оттенком насмешки.

— Не беспокойтесь, — сказала хозяйка, — я принесу вам табуретку.

Девушка засмеялась, и он сконфузился. Было жарко. Жара была сухая и ровная; он вспотел. Хозяйка потащила в галерею деревянную табуретку, обитую кожей. Он хотел было последовать за ней, но тут снова заговорила девушка.

— Худо то, что эти птицы наводят на всех ужас, — сказала она.

Он перехватил суровый взгляд, который хозяйка бросила на девушку. Это был взгляд мимолетный, но многозначительный.

— А ты помалкивай, — сказала хозяйка и с улыбкой повернулась к нему. Тогда он почувствовал себя не таким одиноким, и ему захотелось поговорить.

— О чем это вы? — спросил он.

— О том, что в эти часы на галерею падают мертвые птицы, — отвечала девушка.

— Вечно она выдумывает, — сказала хозяйка.

Она наклонилась, чтобы поправить веточку искусственных цветов, стоявших на столике в центре зала. Пальцы ее дрожали.

— Вовсе нет, — ответила девушка. — Ты сама позавчера выкинула двух.

Хозяйка метнула на нее сердитый взгляд. У нее был жалобный вид, и ей явно хотелось все объяснить так, чтобы не оставалось никаких сомнений.

— Дело в том, сеньор, что позавчера мальчишки подбросили в галерею двух мертвых птиц, чтобы напугать ее, а потом сказали, что мертвые птицы стали падать с неба. А она, что ни скажи, тут же и уши развесит.

Он улыбнулся. Объяснение показалось ему забавным; он потер руки и повернулся к девушке, которая смотрела на него с грустью. Граммофон умолк. Хозяйка вышла в другую комнату, и, когда молодой человек направился на галерею, девушка сказала, понизив голос:

— Я сама видела, как они падают. Поверь мне! Все это видели.

И ему показалось, что теперь ему стала понятна и ее любовь к граммофону, и раздражительность хозяйки.

— Да, — сказал он примирительно.

И, выходя в галерею, прибавил:

— Я тоже их видел.

Там, в тени миндальных деревьев, было не так жарко. Он приставил табуретку к дверному косяку, откинул голову и вспомнил мать: она печально сидела в кресле-качалке и отпугивала кур длинной метлой — и тут он остро ощутил, что впервые уехал из дому.

Неделей раньше он мог бы подумать о том, что его жизнь — это прямая и ровная нить, тянувшаяся от дождливого раннего утра последней гражданской войны, когда он появился на свет в стенах глинобитной деревенской школы, до июльского утра нынешнего года, когда ему исполнилось двадцать два года и мать подошла к его гамаку и подарила ему шляпу, к которой была прикреплена открытка с надписью: «Моему дорогому сыночку в день его

рождения». Порой он стряхивал с себя ржавчину безделья и тосковал по школе, по грифельной доске, по карте какой-то страны, засиженной мухами, и по длинному ряду кувшинов, висевших на стене под именем каждого ученика. Там не было жарко. Это был мирный зеленый городок, там были куры с длинными пепельными лапками; они пробегали по школьному коридору и прятались в чулане. Его мать была в те времена печальной, замкнутой женщиной. По вечерам она садилась подышать воздухом кофейных плантаций и приговаривала: «Манауре — самый лучший городок на свете», а затем оборачивалась к нему и, замечая, как он тихо подрастает в своем гамаке, прибавляла: «Когда вырастешь, ты это поймешь». Но он не понимал ничего. Не понимал этого и в пятнадцать лет; он был слишком большим для своего возраста и отличался завидным, но непрочным здоровьем бездельника. До двадцати лет жизнь его менялась лишь тогда, когда он менял позу, лежа в гамаке. Но именно в это время ревматизм вынудил его мать бросить школу, в которой она проработала восемнадцать лет, и они стали жить в двухкомнатном домике с огромным патио, где откармливались куры с такими же пепельного цвета лапками, как и те, что бегали по школьному коридору.

Забота о курах была его первым соприкосновением с действительностью. Первым и единственным вплоть до июля, когда его мать стала подумывать об уходе на пенсию и решила, что сын уже достаточно взрослый человек, чтобы взять хлопоты о ее пенсии на себя. Он нимало не медля подготовил необходимые документы и даже сумел убедить приходского священника, показав справку о крещении матери, прибавить ей шесть лет, ибо мать по другим документам еще не достигла пенсионного возраста. В четверг он получил последние наставления, скрупулезнейшим образом разработанные матерью, которая руководствовалась своим педагогическим опытом, и отправился в столицу, имея при себе двенадцать песо, смену белья, кипу документов, а также сугубо примитивное представление о слове «пенсия»; в простоте душевной он думал, что пенсия — это определен-

ная сумма денег, которую правительство должно ему вручить на разведение свиней.

Дремля в галерее гостиницы, одурев от духоты, он не дал себе времени поразмыслить о том, сколь серьезно его положение. Он полагал, что напасти его придет конец завтра, когда прибудет поезд, и, таким образом, единственное, что он может теперь делать, — это ждать воскресенья: в воскресенье он поедет куда ему нужно и никогда больше не вспомнит об этом городке, где стоит такая невыносимая жара. Около четырех часов он заснул беспокойным сном, но и во сне досадовал, что не захватил с собой гамак. И тут до него дошло, что он оставил в поезде сверток с бельем и документы, необходимые для получения пенсии. Он мгновенно проснулся, вскочил, вспомнил о матери, и его снова охватила паника.

Когда он внес табуретку в зал, в городке уже зажглись огни. Он никогда еще не видел электрического освещения, так что на него произвели сильное впечатление тусклые и грязные лампочки гостиницы. Потом вспомнил, что мать рассказывала ему про электричество, и понес табурет в столовую, стараясь избегать слепней, которые, как маленькие пули, шлепались о зеркала. Поужинал он без аппетита, оглушенный тем, что отчетливо представил себе ситуацию, в которой очутился, оглушенный страшной жарой, горечью одиночества, которое испытывал впервые в жизни. После девяти его провели в глубину дома, в комнату с деревянными стенами, оклеенную вырезками из журналов и газет. В полночь он погрузился в тяжелый беспокойный сон, а в это время через пять улиц от него отец Антонио Исабель лежал на спине на своей складной кровати и думал о том, чем размышления этой ночи обогатят его проповедь, которую он должен был произнести в семь часов утра. Под звенящее гудение москитов священник отдыхал в своих длинных, облегающих саржевых брюках. Незадолго до полуночи он причащал и соборовал умирающую женщину и так разволновался и разнервничался, что, вернувшись домой, поставил святые дары рядом со своей кроватью, лег и стал мысленно повторять свою утреннюю проповедь. Так, лежа на спине, он провел несколько часов до рассве-

та, когда услышал отдаленный крик выпи. Тогда он приподнялся, с трудом встал с постели, задел колокольчик и ничком упал на пол.

Он пришел в себя от пронизывающей боли в боку. В эту минуту он почувствовал и общую тяжесть: тяжесть своего тела, тяжесть своих грехов и тяжесть своего возраста. Щекой он ощущал неровную поверхность каменного пола, который столько раз, когда отец Антонио Исабель готовился к проповеди, служил для того, чтобы он мог составить себе совершенно точное представление о дороге, ведущей в ад.

— Иисусе! — прошептал он и подумал со страхом: «Мне уже не встать, это ясно».

Он не знал, сколько времени пролежал на полу, ни о чем не думая; ему даже не пришло в голову помолиться о мирной кончине. Он лежал так, как если бы и в самом деле скоропостижно скончался. Но когда очнулся, уже не чувствовал ни боли, ни страха. Под дверью он увидел бледную полоску света; услышал далекую печальную переключку петухов и понял, что жив и что отлично помнит свою проповедь.

Когда он отодвинул дверной засов, уже светало. Он по-прежнему не чувствовал боли, и ему даже казалось, что этот приступ снял с него бремя старости. Вся доброта, все заблуждения и страдания его городка проникли в его сердце, когда он впервые в это утро глотнул воздуха — голубую влагу, наполненную петушиными криками. Потом он огляделся вокруг как бы затем, чтобы примириться с одиночеством, и увидел спокойную утреннюю полутьму и одну... две... три мертвые птицы в галерее.

Целых девять минут он рассматривал три птичьих трупа и, вспомнив о проповеди, думал о том, что эта всеобщая смерть птиц требует искупления. Затем он подобрал всех трех мертвых птиц, прошел в другой конец галереи, подошел к большому глиняному кувшину, открыл его и, сам не зная, зачем он это делает, побросал птиц одну за другой в зеленую стоячую воду. «Три да три — это составляет полдюжины в неделю», — подумал он, и тут божественное озарение указало ему, что начинается великий день в его жизни.

В семь часов стало жарко. В гостинице единственный постоялец ожидал завтрака. Девушка у граммофона еще не вставала. Хозяйка подошла к постояльцу, и в эту минуту ему показалось, будто в ее объемистом животе пробило семь часов.

— Вечно кто-нибудь да опоздает на поезд, — сказала она с бесполезным сочувствием.

А затем подала завтрак — кофе с молоком, яичницу и кусочки недозрелого банана.

Он попытался приняться за еду, но есть ему не хотелось. Он с тревогой чувствовал, что стало жарко. Пот лил с него градом. Он задыхался. Спал он плохо, не раздеваясь, и теперь его слегка знобило. Его снова охватил панический страх, и он вспомнил о матери в ту самую минуту, когда хозяйка подошла, чтобы собрать тарелки, красуясь в новом платье с большими зелеными цветами. Платье хозяйки напомнило ему о том, что нынче был воскресный день.

— Сегодня служат обедню? — спросил он.

— Служить-то служат, — отвечала женщина. — Только могли бы и не служить: все равно почти никто не ходит. А все потому, что не захотели при-слать нам нового священника.

— А что случилось с нынешним?

— Ему сто лет в обед, и к тому же он полоумный, — сказала женщина и задумалась с тарелкой в руке.

Потом заговорила снова:

— Как-то он поклялся с амвона, что видел дьявола, — вот с тех-то самых пор почти никто к нему и не ходит.

Так юноша и очутился в церкви: отчасти от отчаяния, отчасти оттого, что ему было интересно посмотреть на человека, которому почти сто лет.

Юноша увидел, что это мертвый городок с нескончаемыми пыльными улицами и мрачными деревянными домами с цинковыми крышами; дома казались необитаемыми. Городок в воскресный день: улицы без зелени, дома с проволочными сетками и бездонное, колдовское небо над удушливой жарой. Он подумал, что здесь нет ровно ничего такого, что позволило бы отличить воскресный день от любого

другого дня, и, идя по пустынной улице, вспомнил мать: «Все улицы всех городков неизбежно приводят либо в церковь, либо на кладбище». В эту минуту он вышел на маленькую мощеную площадь; там стояло здание, побеленное известкой, с башенкой и деревянным петухом на ее верхушке и с часами, которые остановились на десяти минутах пятого.

Он не торопясь перешел через площадь, поднялся по трем ступенькам паперти и сразу же почувствовал запах застарелого человеческого пота, смешанный с запахом ладана, и очутился в холодном полумраке почти пустой церкви.

Отец Антонио Исабель только что взошел на амвон. Он хотел уже начать проповедь и вдруг увидел, что в церковь вошел молодой человек в шляпе. Священник заметил, что тот разглядывает почти пустой собор своими большими глазами, прозрачными и ясными. Что он сел в последнем ряду, наклонил голову и положил руки на колени. Священник понял: это нездешний. Он прожил в этом городке больше двадцати лет и мог бы узнать любого из его жителей чуть ли не по запаху. Потому он и знал, что человек, только что вошедший в собор, — нездешний. Быстро, но внимательного взгляда было достаточно, чтобы определить — это молчаливый и немного грустный человек, костюм на нем мятый и грязный. «Похоже, что он в нем спал», — подумал отец Антонио Исабель со смешанным чувством жалости и отвращения. Немного спустя, увидев, что молодой человек сел на скамейку, священник почувствовал, что душа его преисполнилась благодарности, и приготовился произнести важнейшую проповедь в своей жизни. «Господи Иисусе, — мысленно произнес он, — сделай так, чтобы он вспомнил про шляпу и чтобы мне не пришлось выгнать его из церкви». И начал проповедь.

Сначала он говорил, не вникая в смысл своих слов. Он даже не слушал себя. Слышал лишь свободно льющуюся стройную мелодию, которая хлынула из источника, дремлющего в его душе от сотворения мира. Ему даже казалось, что слова сами складывались в строгую, стройную, продуманную систему, где все было логично, все вытекало одно из

другого. Он чувствовал, будто наполнен теплым воздухом. Но он знал, что дух его свободен от тщеславия и что ощущение радости, вытеснившее все прочие чувства, не имеет ничего общего ни с гордыней, ни со своеволием, ни с тщеславием; это была чистая радость общения с Господом.

Сеньора Ребека у себя в спальне почувствовала, что теряет сознание, и поняла, что еще минута — и жара станет невыносимой. Если бы она не чувствовала, что из-за жизни в этом городке в ней укоренился темный страх перед чем-то новым, она сложила бы свои пожитки в чемодан с нафталином и пошла бы бродить по свету, как, по рассказам, поступил ее прадед. Но в душе она знала, что ей суждено умереть в этом городке, в доме с этими бесконечными коридорами и девятью спальнями с проволочными сетками, которые, полагала она, необходимо, когда спадет жара, заменить стеклами с шипами. Итак, она останется здесь, это решено (такое решение она всегда принимала, когда приводила в порядок платья у себя в шкафу); кроме того, она решила написать своему «высокопреосвященнейшему кузену», чтобы он прислал сюда молодого священника, — тогда она сможет снова посещать церковь в своей шляпе с бархатными цветочками, ходить к обедне, которую новый священник будет служить по всем правилам, и слушать исполненные мудрости, поучительные проповеди. «Завтра понедельник», — подумала она и заколебалась, надо ли обращаться к епископу с письмом (подобный поступок полковник Буэндия однажды расценил как легкомысленный и непочтительный), но тут Архенида распахнула дверь с проволочной сеткой и закричала:

— Сеньора! Говорят, наш священник сошел с ума!

Вдова повернулась к ней лицом, на котором было весьма характерное для нее хмурое, обиженное выражение.

— Он сошел с ума самое меньшее пять лет тому назад, — заметила она. И, продолжая тщательно разбирать свои платья, сказала: — Должно быть, он опять увидел дьявола.

— Нет, на сей раз это был не дьявол, — отвечала Архенида.

— Тогда кто же? — с надменным равнодушием спросила сеньора Ребека.

— Он говорит, что на этот раз он увидел Агасфера.

Вдова почувствовала, что у нее по коже побежали мурашки. Рой беспорядочных мыслей о поврежденных проволочных сетках, о жаре, о мертвых птицах и о чуме пронесся у нее в голове, когда она услышала слово, которого не помнила со своего далекого детства, — «Агасфер». Тогда она, мертвенно-бледная, холодная, заметалась по комнате, а Архенида смотрела на нее, разинув рот.

— Верно, — глухим голосом произнесла вдова. — Теперь-то я понимаю, почему стали умирать птицы.

Охваченная ужасом, она набросила на голову черную вышитую мантилью и заторопилась по длинному коридору, по залу, заставленному разными ненужными вещами, выскочила из дома, пробежала две улицы, отделявшие ее дом от церкви, в которой преобразившийся отец Антонио Исабель дель Сантисимо Сакраменто дель Алтар вешал:

— ...Клянусь вам, что я его видел. Клянусь вам, что сегодня на рассвете он пересек дорогу, по которой я шел, когда возвращался от жены плотника Ионы, которую я соборовал. Клянусь вам, что лицо у него было черным оттого, что на нем лежало проклятие Господне, и что он оставлял за собой следы тлеющего пепла.

Слова оборвались и застыли в воздухе. Священник почувствовал, что не может унять дрожь в руках, что дрожит всем телом и что по спине его медленно стекает струйка холодного пота. Ему было плохо, он дрожал, ему хотелось пить, он чувствовал пустоту внутри и шум, похожий на глубокий звук органа. Тогда ему открылась истина.

Он видел людей в церкви, видел, что по среднему нефу по направлению к амвону бежит взволнованная сеньора Ребека, театральным жестом простирая руки вперед, с горьким и холодным выражением лица, и голова ее запрокинута кверху. Он смутно

понял, что произошло, и у него хватило проницательности понять, что было бы тщеславием приписывать это чуду. Он смиренно оперся дрожащими руками на деревянную амвонную решетку и возобновил свою речь.

— Потом он подошел ко мне, — продолжал он. И теперь он слышал свой голос, звучавший страстно и убедительно. — Он подошел ко мне; у него были изумрудно-зеленые глаза и шершавая кожа; пахло от него козлом. Я поднял руку, чтобы изгнать его именем Господним, и сказал ему: «Остановись! Воскресенье — неподходящий день для того, чтобы принести в жертву агнца».

Когда он кончил, в церкви было жарко. Стояла сильная, неподвижная, палящая жара этого незабываемого августа. Но отец Антонио Исабель не чувствовал никакой жары. Он знал, что здесь, рядом с ним, находятся люди, снова охваченные тоской, потрясенные его проповедью, но и это не радовало его сердце. Как и то, что вот-вот его пересохшее горло увлажнится вином. Он чувствовал себя бесприютным и незащищенным. Чувствовал, что был рассеян, и не смог сосредоточиться в кульминационный момент свершения таинства. Это случалось с ним уже не раз, но теперь его рассеянность была иной: какое-то смутное беспокойство заглушило все остальные чувства. И тут в первый раз в жизни он познал гордыню. И точь-в-точь как он это представлял себе и как формулировал это в проповедях, он ощутил, что гордыня есть чувство, подобное жажде. Он с силой захлопнул дарохранительницу и позвал:

— Пифагор!

Служка — мальчик с бритой, блестящей головой (отец Антонио Исабель окрестил его и дал ему имя Пифагор) — подошел к алтарю.

— Собери пожертвования, — сказал ему священник.

Мальчик быстро заморгал глазами, повернулся и почти неслышно сказал:

— Я не знаю, куда подевалась тарелочка.

Это была правда. Пожертвования не собирались уже несколько месяцев.

— Тогда поищи в ризнице мешочек, только не маленький, и собери как можно больше, — сказал священник.

— А что мне говорить? — спросил мальчик.

Священник задумчиво посмотрел на его обритую голову с синеватой щетиной, на шевелящиеся губы. Теперь уже он сам заморгал глазами.

— Скажи: это для того, чтобы изгнать Агасфера, — сказал он, а сказав это, почувствовал великую тяжесть на сердце.

С минуту он слышал лишь потрескивание больших восковых свечей в тишине собора да свое собственное тяжелое и прерывистое дыхание. Затем положил руку на плечо служки, смотревшего на него испуганными круглыми глазами, и сказал:

— Потом возьми деньги и отдай их тому юноше, что пришел сюда первым и сперва сидел совсем один, и скажи: эти деньги посылает ему священник, чтобы он купил себе новую шляпу.

СТАРЫЙ-ПРЕСТАРЫЙ СЕНЬОР С ПРЕОГРОМНЫМИ КРЫЛЬЯМИ

На третьи сутки непрерывного дождя в доме накопилось столько убитых крабов, что Пелайо пришлось пройти по затопленному двору к морю и выкинуть их, поскольку у новорожденного ночью была температура — опасались заражения чумой. Мир был печальным, начиная со вторника. Небо и море были сотворены из чего-то одинакового, напоминающего пепел, а песок на берегу, сверкавший в марте, будто растертый в порошок свет, превратился в какое-то варево из тины и гниющих моллюсков. В полдень дневной свет был так скуден, что когда Пелайо возвращался, выбросив крабов в море, ему большого труда стоило разглядеть, как что-то шевелится и стонет в глубине двора. Пришлось подойти совсем близко, и тогда он увидел какого-то старика, упавшего ничком в непролазную грязь, который, несмотря на отчаянные усилия, не мог подняться — мешали огромные крылья.

Напуганный кошмарным видением Пелайо бросился на поиски Элисенды, жены, которая ставила больному ребенку компресс, и потащил ее в глубину двора. Оба рассматривали упавшее тело с молчаливым ужасом. Одет он был как старьевщик. Несколько бесцветных прядей едва прикрывали лысый череп, зубов почти не было, а жалкое положение размякшего старца лишало его всякого величия. Большие петушинные крылья, грязные и сильно облезшие, навсегда увязли в топкой грязи. Пелайо и Элисенда рассматривали его так тщательно и с таким вниманием, что вскоре оправились от изумления и даже обнаружили в нем что-то знакомое. Тогда, осмелев, они заговорили с ним, и он ответил на непонятном им языке, голосом, какой бывает у моряков. В конце концов, оставив без внимания крылья, они очень разумно заключили, что это кто-то

потерпевший кораблекрушение, с какого-нибудь иностранного корабля, унесенного бурей.

Однако они позвали соседку, знавшую все о жизни и смерти, чтобы та взглянула на него, и ей достаточно было одного взгляда, чтобы избавить их от ошибки.

— Это ангел, — сказала она им. — Я уверена — он летел за ребенком, но бедняга так стар, что его сбило дождем.

На следующий день все знали, что Пелайо держит у себя ангела во плоти и крови. Вопреки утверждению мудрой соседки, что ангелы нынешних времен — это беглецы, спасшиеся после какого-то заговора на небесах, не хватало духу забить его палками. Целый вечер Пелайо сторожил его из кухни, вооружившись своей дубинкой альгвасила, а перед тем, как лечь спать, волоком вытащил его из грязи и запер вместе с курами в проволочном курятнике. В полночь, когда кончился дождь, Пелайо и Элисенда все еще убивали крабов. Немного позже ребенок проснулся с нормальной температурой и захотел есть. Тогда на них напало великодушие, и они решили сделать ангелу плот, снабдить подслащенной водой и провизией на три дня и предоставить собственной судьбе в открытом море. Но когда с первыми лучами солнца они вышли во двор, то обнаружили около курятника всех своих соседей, которые, глядя на ангела, всячески развлекались без малейшего признака набожности и бросали ему кусочки еды сквозь отверстия проволочной сетки, будто это было не сверхъестественное существо, а какой-нибудь зверь в цирке.

Еще до семи прибыл отец Гонсага, встревоженный несуразной новостью. К этому времени появились любопытные, менее легкомысленные, чем те, что на рассвете, и стали строить самые разнообразные догадки относительно будущей судьбы пленника. Наиболее простодушные считали, что его нужно назначить алькальдом. Другие, более суровые духом, предполагали, что он получит пять генеральских звезд и выиграет все войны. Некоторые фантазеры рассчитывали, что он будет сохранен «на племя» для выведения на земле нового вида крыла-

тых и мудрых людей, которые возьмут на себя все тяготы вселенной. Но отец Гонсага, до того как стать священником, был здоровенным лесорубом. Высунувшись из-за проволочной изгороди, он с минуту повторял катехизис, а потом попросил открыть дверь, чтобы поближе рассмотреть сего достойного жалости мужа, более похожего на огромную дряхлую курицу среди всполошившихся кур. Забившись в угол, тот сушил на солнце распростертые крылья, а вокруг валялась кожа от фруктов и остатки завтраков, которые накидали ему полуночники. Чуждый всеобщему нахальству, он едва поднял глаза, похожие на глаза антиквара, и прошептал что-то на своем языке, когда отец Гонсага вошел в курятник и поздоровался с ним на латыни. Первый раз святого отца заподозрили в обмане, убедившись, что он не знает языка Бога и не умеет приветствовать Его посланцев. Он же, при ближайшем рассмотрении, обнаружил в посланце слишком много человеческого: от него непереносимо несло сыростью, крылья изнутри были облеплены водорослями, а маховые перья были истреplены земными ветрами, и ничто в его жалком облике не напоминало о присущем ангелам достоинстве. Отец Гонсага вышел из курятника и обратился к любопытным с небольшой проповедью, предостерегая их от опасности простодушия. Он напомнил им, что дьявол имеет скверную привычку прибегать к маскарадным средствам, дабы смущать неосторожных. Он привел следующий довод: если крылья не могут служить основным признаком определения разницы между ястребом и аэропланом, то еще меньше по ним можно распознать ангела. Однако он обещал написать письмо епископу, с тем чтобы тот написал еще более высокому лицу, которое в свою очередь написало бы Папе Римскому, и, таким образом, окончательный вердикт будет исходить от суда самого высочайшего.

Его благоразумие нашло отклик в простых сердцах. Весть о плененном ангеле распространилась с такой быстротой, что через несколько часов во дворе стало оживленно, как на рынке, и пришлось вызвать отряд карабинеров, чтобы утихомирить толпу, чуть не развалившую дом. У Элисенды спина не

разгибалась — столько мусора приходилось выметать из-за этого столпотворения, и тогда ей пришла в голову дельная мысль обнести двор забором и собирать по пять сентаво за вход, чтобы посмотреть на ангела.

Пришли любопытные даже с Мартиники. Появился бродячий цирк с летающим акробатом, который несколько раз со свистом пролетел над толпой, но никто не обратил на него внимания, потому что крылья у него были не как у ангела, а как у летучей мыши в звездном небе. В надежде на исцеление пришли самые несчастные больные с берегов Карибского моря: бедная женщина, которая с детства считала удары своего сердца, а число их все не доходило до нужного; ямаец, который не мог спать, потому что ему мешало шуршание звезд; лунатик, который вставал посреди ночи и во сне разрушал то, что сделал наяву, и многие другие — в менее тяжелом состоянии. Посреди всего этого беспорядочного нашествия, от которого дрожала земля, — Пелайо и Элисенда, усталые от счастья, потому что меньше чем за неделю они набили деньгами свои комнаты, а вереница паломников, ожидавших своей очереди войти, все тянулась до самого горизонта.

Ангел был единственным, не принимавшим участия в событиях, коих был причиной. Он то и дело переходил с места на место в своем временном гнезде, потому что у него кружилась голова от адской жары, распространяемой масляными лампами и жертвенными свечами, придвинутыми к проводочной сетке. Сначала его пытались кормить кристаллами камфары, которые, как утверждала мудрая соседка, были специальной пищей ангелов. Но он отказался и от них, и, даже не попробовав, от картошки, которую приносили ему исповедующиеся, и кончил тем, что стал есть только кашу из баклажанов — не то по старости, не то потому, что она-то и была пищей ангелов. Его единственным сверхъестественным достоинством, казалось, было терпение. Особенно поначалу, когда курицы клевали его, выискивая небесных насекомых, расплодившихся в его крыльях, а изможденные болезнями паломники выщипывали у него перья и прикладывали их к боль-

ным местам, наиболее же благочестивые из них бросали в него камешки, чтобы он встал — посмотреть на него во весь рост. Только один раз его расшевелили, когда прижгли бок клеймом для молодых бычков, поскольку он лежал без движения столько времени, что его сочли умершим. Вздрогнув, он проснулся, что-то бормоча на неведомом языке, со слезами на глазах, и два раза взмахнул крыльями, подняв тучи желто-лунной пыли и куриного помета и вызвав такой приступ паники, какого раньше и на свете не было. Хотя многие решили, что его действия вызваны не гневом, а болью, все-таки с тех пор его остерегались беспокоить, потому что большинству стало ясно, что бездеятельность его — это не бездеятельность героя, удалившегося от дел, просто он отдыхает после пережитого потопа.

Отец Гонсага, в ожидании окончательного суждения о происхождении пленника, пытался противостоять нахальным выходкам толпы, увещевая ее с доморощенным вдохновением. Но письмо из Рима не обещало быстрого решения вопроса. Там тратили время на то, чтобы узнать, есть ли у пойманного пуп, не похож ли язык, на котором он говорит, на арамейский, может ли он несколько раз подряд упасть на булавочное острие, и вообще, может быть, это просто крылатый норвежец.

Эти осторожные письма ходили бы туда-сюда до скончания века, если бы вдруг само Провидение не вмешалось и не положило конец терзаниям преподобного отца.

Случилось так, что в эти самые дни один из многочисленных бродячих цирков, путешествующих по берегам Карибского моря, показывал в городке, среди прочего, очень грустное зрелище — женщину, превратившуюся в паука из-за непослушания родителям. Мало того что плата за вход была меньше той, которую платили, чтобы посмотреть на ангела, — ей можно было задавать любые вопросы о невероятном превращении и рассматривать ее со всех сторон, чтобы уж никто не мог усомниться в подлинности кошмарного происшествия. Это был жуткий тарантул величиной с барана и с лицом грустной молодой девушки. Но самым душераздирающим был не ее не-

лепый вид, а неподдельная скорбь, с которой рассказывала она подробности своего несчастья: она была почти девочкой, когда однажды убежала из родительского дома на танцы, а когда, протанцевав без разрешения всю ночь, возвращалась лесом домой, небо вдруг со страшным грохотом разверзлось посередине и из этой трещины появилась серная молния, превратившая ее в паука. Единственной пищей девушки были катышки из мясного фарша, которые иные добрые души кидали ей прямо в рот. Подобное зрелище, полное такой жизненной правды и такой суровой морали, само того не ведая, отбило охоту смотреть на надменного ангела, едва достаивавшего взглядом простых смертных. Кроме того, те немногие чудеса, которые связывали с ангелом, производили определенный беспорядок в умах: например, слепой, к которому зрение не вернулось, зато у него выросли три новых зуба, или паралитик, который так и не стал ходить, но чуть было не выиграл в лотерею, или прокаженный, у которого на язвах выросли подсолнухи. Эти малоутешительные чудеса, больше похожие на насмешку, уже и так подорвали авторитет ангела, а женщина-паук окончательно свела его на нет. Вот так и получилось, что отец Гонсага навсегда избавился от бессонницы, а во дворе у Пелайо стало так безлюдно, как в те времена, когда три дня подряд лил дождь и крабы разгуливали по комнатам.

Хозяевам дома не на что было жаловаться. На собранные деньги они построили большой двухэтажный дом, с балконами и садом, сделали везде высокие пороги, чтобы зимой в дом не проникали крабы, а окна забрали железными решетками, чтобы не проникали ангелы. К тому же Пелайо устроил неподалеку от города крольчатник и напроочь отказался от должности альгвасила, а Элисенда купила лакированные туфельки на высоких каблуках и платья из переливчатого шелка, которые в те далекие времена надевали по воскресеньям дамы, вызывающие зависть. Единственное, на что не обращали внимания, был курятник. Если его иной раз мыли с карболкой и жгли в нем капельки мирры, так это не из уважения к ангелу, а чтобы из-за туч куриного

помета не распространялась чумная зараза, бродившая везде, как призрак, и превращавшая новые дома в старые. Сначала, когда ребенок стал ходить, они остерегались подпускать его близко к курятнику. Потом постепенно забыли о страхе и попривыкли к чуме, и к тому времени когда у ребенка выпали молочные зубы, он всю игру в курятнике, проволока у которого сгнила и отваливалась кусками. Ангел был с ним не более приветлив, чем с прочими мертвыми, однако выносил его самые изобретательные гнусности с кротостью собаки, давно лишившейся иллюзий. Оба одновременно перенесли ветрянку. Врач, лечивший ребенка, не устоял от соблазна осмотреть ангела и обнаружил у него такие шумы в сердце и такие камни в почках, что вообще было поразительно, почему он еще жив. Однако особенно его удивило, как растут крылья. Они были настолько естественны для этого вполне человеческого организма, что оставалось только удивляться, почему их нет у остальных людей.

К тому времени, когда ребенок пошел в школу, солнце и дожди окончательно завершили разрушение курятника. Ангел слонялся то здесь, то там, похожий на неприкаянного умирающего. Его выгоняли метлой из спальни, а через минуту видели в кухне. Казалось, он был одновременно в разных местах, так что начали уже подумывать, не раздваивается ли он, населяя двойниками весь дом, а выведенная из себя, раздраженная Элисенда кричала: «Какое несчастье — жить в этом аду, полном ангелов!» Он почти не мог есть, его глаза антиквара стали такими мутными и незрячими, что он наткался на дверные косяки, а оставшиеся перья облезли до самых верхушек. Пелайо накинул ему на плечи одеяло и проявил доброту, позволив спать в сарае, и тогда только они заметили, что ночью у него поднялась температура и что он скороговоркой повторял что-то в бреду на старонорвежском языке. Это был тот редкий случай, когда они встревожились, потому что думали — он умрет, и даже мудрая соседка не знала, что делают с умершими ангелами.

Однако он не только пережил худшую свою зиму, но с первыми лучами солнца ему стало заметно

лучше. Целыми днями он неподвижно сидел в самом отдаленном углу двора, где его никто не мог видеть, а в начале декабря на крыльях стали отрастать большие и крепкие перья, перья большой старой птицы, будто новая победа над старостью. Но он, должно быть, знал причину этих изменений, потому что тщательно охранял их от посторонних глаз, а иногда, когда никто не слышал, напевал при свете звезд песни моряков. Однажды утром, когда Элисенда нарезала к завтраку колечки лука, в кухню ворвался, будто в открытом море, порыв ветра. Тогда она выглянула в окно и с удивлением увидела ангела, пытавшегося взлететь. Попытки были так неловки, что он проделал крыльями, как плугом, борозды на грядках с овощами и чуть не развалил сарай, взмахивая своими несуразными крыльями, которые подскальзывались на солнечных лучах, не находя в воздухе опоры. Все-таки ему удалось набрать высоту. У Элисенды вырвался вздох облегчения, за себя и за него, когда она увидела, как он пролетает над последними домами, всеми способами удерживая себя в воздухе отчаянными взмахами крыльев старого ястреба. Она видела его, когда уже невозможно было видеть, потому что теперь он был уже не какой-то помехой в ее жизни, а воображаемой точкой на горизонте, уходящем в морскую даль.

МОРЕ ИСЧЕЗАЮЩИХ ВРЕМЕН

В конце января море стало беспокойным, приносило в поселок множество мусора, и через несколько недель все было донельзя пропитано влагой. С этих пор все стало как-то ни к чему, по крайней мере до следующего декабря, и после восьми все уже засыпали. Но в тот год, когда появился сеньор Эрберт, море не изменилось даже в феврале. Наоборот, с каждым днем оно становилось все более тихим и сверкающим, а в первые ночи марта выдохнуло запах роз.

Тобиас услышал его. Его нежная кожа нравилась крабам, и большую часть ночи он проводил отпугивая их от постели, до тех пор, пока не начинался бриз и ему не удавалось наконец заснуть. За долгие часы бессонницы он научился различать малейшие изменения, происходившие снаружи. Так что когда он услышал запах роз, ему не нужно было открывать дверь, чтобы убедиться — это запах моря.

Встал он поздно. Клотильда разжигала огонь во дворе. Дул свежий бриз, и каждая звезда была на своем месте, однако над горизонтом их было бы трудно сосчитать — так светилась вода. Выпив кофе, он ощутил на небе привкус ночного запаха.

— Вчера вечером, — вспомнил он, — произошло нечто очень странное.

Клотильда, разумеется, ничего не заметила. Она спала так крепко, что даже не помнила своих снов.

— Запах роз, — сказал Тобиас, — и я уверен, он шел от моря.

— Уж не знаю, откуда здесь пахнуть розам, — сказала Клотильда.

Пожалуй, это было так. Земля в поселке была сухой и бесплодной, на четверть из селитры, и только иногда кто-нибудь привозил из других мест букет цветов, чтобы бросить его в море, в том месте, куда бросали умерших.

— Это тот самый запах, который шел от утопленника из Гуакамайяля, — сказал Тобиас.

— Вот как, — улыбнулась Клотильда, — если это приятный запах, можешь быть уверен — он не от этого моря.

Это и в самом деле было жестокое море. Бывало, что сетями вылавливали только жидкую грязь, а во время отлива улицы поселка сплошь были усеяны дохлой рыбой. От динамита же на поверхности появлялись только остатки бывших кораблекрушений. Те немногие женщины, которые еще были в поселке, как и Клотильда, всегда раздражались, когда стряпали. И так же, как она, жена старого Хакоба, вставшая в то утро раньше обычного, начала убирать в доме, а завтракать села с враждебным лицом.

— Мое последнее желание, — сказала она мужу, — чтобы меня похоронили живой.

Она сказала это, будто лежала на смертном одре, хотя сидела за столом, в комнате с большими окнами, сквозь которые струилось и разливалось по всему дому мартовское солнце. Напротив нее, голодный больше обычного, сидел старый Хакоб, человек, любивший ее так сильно и так давно, что не понимал ничьих страданий, если только речь шла не о его жене.

— Я хочу умереть будучи уверенной, что меня похоронят в земле, как всех честных людей, — продолжала она. — Единственный способ это знать — идти куда-нибудь и умолять о милости похоронить меня живой.

— Не нужно тебе никого умолять, — сказал старый Хакоб с обычным спокойствием. — Я сам с тобой пойду.

— Тогда идем, — сказала она, — потому что я умру очень скоро.

Старый Хакоб пристально посмотрел на нее. Только глаза у нее оставались молодыми. Суставы обтянуты кожей, и вся она такая же, как эта пустынная земля — с давних времен и всегда.

— Сегодня ты выглядишь хорошо как никогда, — сказал он ей.

— Вчера вечером, — вздохнула она, — я слышала запах роз.

— Не волнуйся, — успокоил ее старый Хакоб. — С бедняками это случается.

— Дело не в этом, — сказала она. — Я всегда молилась о том, чтобы меня заблаговременно предупредили о смерти — хотела успеть умереть подалее от этого моря. Запах роз в этом поселке — не что иное, как предупреждение Бога.

Старому Хакобу не оставалось ничего другого, как попросить ее о небольшой отсрочке для улаживания кое-каких дел. Когда-то он слышал, что люди умирают не когда нужно, а когда хотят, и его всерьез обеспокоили предсказания жены. Он даже спросил себя: если ее час настал, может, и правда лучше похоронить ее живой?

В девять он открыл комнату, где раньше была лавка. Поставил у входа два стула и столик с доской для шашек и все утро играл со случайными партнерами. Со своего места ему виден был развалившийся поселок, облупившиеся дома с проглядывавшей кое-где прежней краской, изъеденной солнцем, и кусочек моря — там, где кончалась улица.

До обеда он, как всегда, играл с доном Максимо Гомесом. Старый Хакоб не мог представить себе более человеческого противника, чем этот, прошедший невредимым две гражданские войны и только в третьей потерявший один глаз. Нарочно проиграв ему одну партию, он уговорил его сыграть вторую.

— Вот скажите мне, дон Максимо, — спросил он, — вы бы смогли похоронить живой свою жену?

— Наверняка, — сказал дон Максимо Гомес. — Поверьте: и рука бы не дрогнула.

Старый Хакоб удивленно промолчал. Потом, нарочно отдав свои лучшие фигуры, вздохнул:

— Это я к тому, что Петра вроде собралась умирать.

Выражение лица дона Максимо не изменилось. «В таком случае, — сказал он, — нет необходимости хоронить ее живой». Он «съел» две фигуры и вывел одну в дамки. После этого устремил на партнера единственный глаз, увлажненный грустной слезой.

— А что с ней такое?

— Вчера вечером, — объяснил старый Хакоб, — она слышала запах роз.

— Тогда должно перемереть полпоселка, — сказал дон Максимо Гомес. — Сегодня утром все только об этом и говорят.

Старый Хакоб приложил много усилий, чтобы снова проиграть, не обидев его. Он убрал стол и оба стула, закрыл лавку и отправился искать кого-нибудь, кто слышал запах роз. Но только Тобиас мог подтвердить это с уверенностью. Так что старый Хакоб попросил его зайти к ним, сделав вид, будто просто шел мимо, и все рассказать его жене.

Тобиас согласился. В четыре часа, приведя себя в порядок, как и полагается идя в гости, он появился на внутренней галерее, где жена целый день трудилась, приготавливая старому Хакобу одежду для траура.

Он вошел так тихо, что женщина вздрогнула.

— Божé милостивый, — вскрикнула она, — я уж думала — это архангел Гавриил.

— А теперь видите, что нет, — сказал Тобиас. — Это я, пришел рассказать вам одну вещь.

Она поправила очки и снова принялась за работу.

— Знаю я, что это за вещь, — сказала она.

— А если нет? — сказал Тобиас.

— Вчера вечером ты слышал запах роз.

— Откуда вы знаете? — спросил Тобиас, растерявшись.

— В моем возрасте, — сказала женщина, — столько времени тратишь на размышления, что в конце концов становишься ясновидящей.

Старый Хакоб, приложивший ухо к перегородке в комнатке позади лавки, выпрямился, пристыженный.

— Что скажешь, жена? — крикнул он из-за перегородки. Он обошел вокруг и появился на галерее. — Значит, это не то, что ты думала.

— Этот парень все выдумал, — сказала она, не поднимая головы. — Ничего он не слышал.

— Было около одиннадцати, — сказал Тобиас, — я отгонял крабов.

Женщина кончила зашивать воротник.

— Выдумки, — повторила она. — Все знают, что ты лгун. — Она откусила нитку и посмотрела на Тобиаса поверх очков. — Одного я не понимаю: так

старался — ботинки почистил, волосы на помадил, и все это для того, чтобы прийти и показать, что не очень-то ты меня уважаешь.

С этого дня Тобиас начал следить за морем. Он повесил гамак на галерее, во дворе, и ждал ночи напролет, с удивлением прислушиваясь к тому, что происходит в мире, когда все спят. Много ночей подряд он слышал, как отчаянно царапаются крабы, пытаясь залезть в гамак по опорам, столько ночей, пока они сами не устали от своих попыток. Теперь он знал, как спит Клотильда. Оказывается, она издавала свист, похожий на звук флейты, который становился тоньше по мере нарастания жары и наконец тихо звучал на одной ноте в тяжелом июльском сне.

Сначала Тобиас следил за морем, как это делают те, кто хорошо его знает, — глядя в одну точку на горизонте. Он видел, как оно меняет цвет. Видел, как оно тускнеет, становится пенным и грязным, и как выплевывает горы отбросов, когда сильные дожди переворачивают его расхолодившиеся кишки. Мало-помалу он научился следить за ним, как это делают те, кто знает его лучше, — может быть, не глядя на него, но не забывают, какое оно, даже во сне.

В августе умерла жена старого Хакоба. На рассвете ее нашли мертвой и, как всех умерших, бросили в море без цветов. А Тобиас все ждал. Он так ждал, что ожидание стало его жизнью. Однажды ночью, когда он дремал в гамаке, ему почудилось, как что-то в воздухе изменилось. То появлялся, то исчезал какой-то запах, как в те времена, когда японское судно вывалило рядом с поселком груз с гнилым луком. Потом запах устоялся, и до рассвета ничего не менялось. И только когда стало казаться, что его можно взять в руки, чтобы кому-то показать, Тобиас вылез из гамака и пошел в комнату Клотильды. Он встряхнул ее несколько раз.

— Вот он, — сказал он ей.

Клотильде пришлось пальцами снять с себя запах, как паутину, чтобы приподняться. Потом она снова упала на мягкую простыню.

— Будь он проклят, — сказала она.

Тобиас одним прыжком достиг двери, выбежал на середину улицы и закричал. Он кричал изо всех

сил, потом перевел дух и снова закричал, подождал немного и глубоко вздохнул — запах над морем не исчезал. Но никто не отозвался. Тогда он стал стучаться во все дома, даже в те, где никто не жил, пока в этом переполохе не приняли участие собаки и он не перебудил всех.

Многие ничего не чувствовали. Зато другие, особенно старики, шли на берег, чтобы вдыхать его. На рассвете запах был так чист, что жалко было дышать.

Тобиас спал почти целый день. Клотильда добралась до него только во время сиесты, и целый вечер они резвились в постели, открыв дверь во двор. Они то сплетались, как черви, то были похожи на двух кроликов или на двух черепах, пока не начало смеркаться и мир не потускнел. В воздухе еще пахло розами. Иногда в комнату долетали звуки музыки.

— Это у Катарина, — сказала Клотильда. — Должно быть, кто-нибудь пришел.

Пришли трое мужчин и одна женщина. Катарина подумал, что попозже могут прийти еще и решил наладить радиолу. Поскольку сам он не мог, то попросил об одолжении Панчо Апаресидо, который мог все, что угодно, потому что ему всегда было нечего делать, а кроме того, у него был ящик с инструментами и умные руки.

Лавка Катарина была в деревянном доме, стоявшем поодаль, у самого моря. В ней была большая комната со стульями и столиками и несколько комнат в глубине. Пока разглядывали работу Панчо Апаресидо, трое мужчин и женщина молча пили, сидя за стойкой, и по очереди зевали.

Радиола действовала безотказно, сколько ни пробовали. Услышав музыку, далекую, но ясную, люди умолкали. Они смотрели друг на друга, не зная, что сказать, и только тут понимали, как состарились с тех пор, когда последний раз слышали музыку.

Тобиас обнаружил, что после девяти еще никто не спал. Все сидели у дверей и слушали старые пластинки Катарина с детской покорностью неизбежному, с какой созерцают солнечное затмение. Каждая пластинка будто говорила, что ты давно уже умер, или о чем-то, что нужно было вот-вот сделать,

но чего никогда не делали по забывчивости, — это было как ощущать вкус пищи после продолжительной болезни.

Музыка кончилась в одиннадцать. Многие легли спать, опасаясь дождя, потому что над морем появилась темная туча. Но туча опустилась, подержалась немного на поверхности, а потом растворилась в воде. Наверху остались только звезды. Немного позже ветер, дувший от поселка к морю, принес, возвращаясь обратно, запах роз.

— Я же говорил вам, Хакоб, — воскликнул дон Максимо Гомес. — Опять он здесь. Уверен — теперь мы будем слышать его каждую ночь.

— Бог этого не допустит, — сказал старый Хакоб. — Этот запах — единственное, что пришло ко мне в жизни слишком поздно.

Они сидели в пустой лавке и играли в шашки, не обращая внимания на музыку. Их воспоминания были такими древними, что не было пластинок, достаточно старых, которые могли бы их воскресить.

— Я-то, со своей стороны, не очень верю во все это, — сказал дон Максимо Гомес. — Если столько лет жить, питаясь голой землей, с женщинами, мечтающими каждая о маленьком дворике, где она могла бы посадить цветы, ничего странного не будет, если в конце концов начнешь и не такое чувствовать и поверишь, что все это на самом деле.

— Да, но мы чувствуем это собственным носом, — сказал старый Хакоб.

— Это неважно, — сказал дон Максимо Гомес. — Во время войны, когда революция уже потерпела поражение, нам так хотелось иметь командира, что нам явился герцог Мальборо, во плоти и крови. Я видел его собственными глазами, Хакоб.

Было уже за полночь. Оставшись один, старый Хакоб закрыл лавку и перенес лампу в спальню. В квадрате окна, которое вырисовывалось на фоне светящегося моря, он видел скалу, откуда бросали умерших.

— Петра, — тихо позвал он.

Она не слышала его. В эту минуту она плыла, будто водяной цветок, в сверкающем полдне Бенгальского залива. Она подняла голову, чтобы видеть

сквозь воду, как через освещенный витраж, огромную Атлантику. Но она не видела своего мужа, который в этот момент снова услышал, с другого конца света, радиолу Катарينو.

— Ты подумай, — сказал старый Хакоб. — Еще и полгода не прошло с тех пор, как все решили, что ты сумасшедшая, а теперь сами радуются этому запаху, принесшему тебе смерть.

Он погасил лампу и лег в постель. Он плакал тихо, не находя облегчения, хныча по-стариковски, но скоро заснул.

— Я уехал бы отсюда, если б мог, — всхлипывал он во сне, — уехал бы к чертовой матери, если бы имел хоть двадцать песо.

С этой ночи в течение еще нескольких недель запах с моря не исчезал. Им пропитались деревянные дома, продукты и питьевая вода, и не было места, где бы он не был слышен. Многие боялись обнаружить его в испарении собственных испражнений. Те мужчины и женщина, что пршли в лавку Катарينو, в четверг ушли, но вернулись в субботу с целой толпой. В воскресенье пришли еще люди. Они кишели везде, где только можно, в поисках еды и ночлега, так что стало невозможно пройти по улице.

Приходили еще и еще. В лавку Катарينو вернулись женщины, покинувшие поселок, когда оттуда ушла жизнь. Они стали еще толще и еще размалеваннее и принесли с собой модные пластинки, никому и ничего не напоминавшие. Пришел кое-кто из прежних жителей поселка. Они уходили, чтобы в других местах набить карманы деньгами, и, вернувшись, рассказывали о своей удаче, но одеты они были в то же, в чем когда-то уходили. Появились музыканты и лотереи, где выигрывали и деньги и вещи, пришли предсказатели судьбы, и наемные убийцы, и люди с живой змеей на шее, продававшие эликсир бессмертия. Они все приходили и приходили, в течение нескольких недель, даже когда начались дожди и море стало беспокойным, а запах исчез.

Одним из последних пришел священник. Он появлялся всюду, ел хлеб, обмакивая его в кофе с молоком, и мало-помалу стал запрещать все, что появилось до него: и лотереи, и новую музыку, и как

под нее танцуют, и даже недавний обычай спать на берегу. Однажды вечером, в доме Мельчора, он произнес проповедь о запахе с моря.

— Возблагодарим же небеса, дети мои, — сказал он, — потому что это запах, посланный Богом.

Кто-то перебил его:

— А как можно это узнать, святой отец, если раньше его никто не слышал?

— В Священном Писании, — сказал он, — ясно сказано об этом запахе. Поселок этот — избранное место.

Тобиас как сомнамбула ходил туда-сюда среди всеобщего празднества. Он принес Клотильде деньги, чтобы она знала, какие они. Они представляли себе, как выиграют в рулетку кучу денег, потом произвели подсчеты и почувствовали себя несказанно богатыми с той суммой, которую могли бы выиграть. Но однажды вечером не только они, но и огромная толпа, заполнившая поселок, увидели гораздо больше денег сразу, чем когда-либо могли себе представить.

Это было в тот вечер, когда пришел сеньор Эрберт. Он появился неожиданно, поставил посреди улицы стол и водрузил на него два больших баула, доверху набитые банкнотами. Денег было столько, что вначале на них никто не обратил внимания, — невозможно было поверить, что все это на самом деле. Но когда сеньор Эрберт зазвонил в колокольчик, ему наконец поверили и стали подходить ближе — послушать.

— Я самый богатый человек на свете, — сказал он. — Денег у меня столько, что я не знаю, куда их складывать. Но кроме того, сердце мое так велико, что не умещается в груди, поэтому я принял решение идти по свету и разрешать проблемы рода человеческого.

Он был крупный и краснолицый. Говорил громко и без пауз, жестикулируя мягкими, вялыми руками, производившими впечатление только что выбритых. Он говорил в течение четверти часа, потом передохнул. Потом снова позвонил в колокольчик и снова заговорил. Посредине речи кто-то из собравшихся перебил его, помахав шляпой:

— Да хватит, мистер, кончайте говорить и начинайте раздавать деньги.

— Но не так же, — ответил сеньор Эрберт. — Раздавать деньги ни с того ни с сего — совершенно бессмысленно, не говоря уже о том, что это несправедливо.

Он задержал взгляд на говорившем и поманил его пальцем. Толпа расступилась.

— Все будет иначе, — продолжал сеньор Эрберт, — с помощью нашего нетерпеливого друга мы продемонстрируем сейчас наиболее справедливый способ распределения богатств. Как тебя зовут?

— Патрисио.

— Прекрасно, Патрисио, — сказал сеньор Эрберт. — Как у всех, у тебя наверняка есть проблема, которую ты никак не можешь разрешить.

Патрисио снял шляпу и кивнул.

— Какая же?

— Проблема у меня такая, — сказал Патрисио, — денег нет.

— И сколько тебе нужно?

— Сорок восемь песо.

Сеньор Эрберт издал торжествующий возглас. «Сорок восемь песо», — повторил он. Толпа одобрительно зашумела.

— Прекрасно, Патрисио, — продолжал сеньор Эрберт. — А теперь скажи нам: что ты умеешь делать?

— Много чего.

— Выбери что-нибудь одно, — сказал сеньор Эрберт. — То, что умеешь лучше всего.

— Ладно, — сказал Патрисио. — Я умею подражать пению птиц.

Снова послышался одобрительный шум, и сеньор Эрберт обратился к собравшимся:

— А теперь, сеньоры, наш друг Патрисио, который великолепно подражает пению птиц, избразит нам пение сорока восьми разных птиц и таким образом решит величайшую проблему своей жизни.

И тогда Патрисио, перед удивленно притихшей толпой, начал имитировать пение птиц. То свистом, то клекотом он избразил всех известных птиц, а

чтобы набрать нужное число — и таких, которых никто не мог узнать. Наконец сеньор Эрберт попросил собравшихся поаплодировать и отдал ему сорок восемь песо.

— А сейчас, — сказал он, — подходите один за другим. До этого же часа завтрашнего дня я буду здесь, чтобы разрешать проблемы.

Старый Хакоб узнавал о происходящей суматохе из разговоров проходивших мимо людей. От всякого нового сообщения сердце у него распирало, каждый раз все больше и больше, пока он не почувствовал, что оно вот-вот разорвется.

— Что вы думаете об этом гринго? — спросил он.

Дон Максимо Гомес пожал плечами:

— Может быть, он филантроп.

— Если бы я умел что-нибудь делать, — сказал старый Хакоб, — я тоже мог бы решить свою маленькую проблему. У меня ведь и вовсе ерунда: двадцать песо.

— Вы отлично играете в шашки, — сказал дон Максимо Гомес.

Старый Хакоб, казалось, не обратил внимания. Но, оставшись один, завернул в газету игральную доску и коробку с шашками и отправился на поединок с сеньором Эрбертом. Он ждал своей очереди до полуночи. Наконец сеньор Эрберт нагрузился своими баулами и попрощался до следующего утра.

Он не пошел спать. Он появился в лавке Катарино, в сопровождении мужчин, которые несли его баулы, а за ним все шла толпа со своими проблемами. Он решал их одну за другой, и решил столько, что в конце концов остались только женщины и несколько мужчин, чьи проблемы были еще не решены. В глубине комнаты одинокая женщина медленно обмахивалась популярной брошюрой.

— А ты, — крикнул ей сеньор Эрберт, — у тебя что за проблема?

Женщина перестала обмахиваться.

— Я не участвую в этом празднике, мистер, — крикнула она через всю комнату. — У меня нет никаких проблем, я проститутка и получаю свое от всяких калек.

Сеньор Эрберт пожал плечами. Он пил холодное пиво — рядом со своими баулами — в ожидании новых проблем. Он вспотел.

Немного позже одна женщина отделилась от сидевшей за столиком компании и тихо заговорила с ним. У нее была проблема в пятьсот песо.

— А ты за сколько идешь? — спросил ее сеньор Эрберт.

— За пять.

— Скажи пожалуйста, — сказал сеньор Эрберт. — Сто мужчин.

— Это ничего, — сказала она. — Если я достану эти деньги, это будут последние сто мужчин в моей жизни.

Он окинул ее взглядом. Она была очень юной, хрупкого сложения, но в глазах была твердая решимость.

— Ладно, — сказал сеньор Эрберт. — Иди в комнату, а я буду тебе их присылать, каждого за пять песо.

Он вышел на улицу и стал звонить в колокольчик. В семь часов утра Тобиас увидел, что лавка Катарино открыта. Все было тихо. Полусонный, отекий от пива сеньор Эрберт следил за поступлением мужчин в комнату девушки.

Тобиас тоже вошел. Девушка узнала его и удивилась, увидев в комнате.

— И ты тоже?

— Мне сказали, чтобы я вошел, — сказал Тобиас. — Мне дали пять песо и сказали — не задерживайся.

Она сняла с постели мокрую от пота простыню и подала Тобиасу другой конец. Она была тяжелой, будто из дерева. Они стали выжимать ее, выкручивая с обоих концов, пока она не приобрела свой нормальный вес. Перевернули матрас, чтобы теперь намокала от пота другая сторона. Тобиас проделал все, что только мог. Перед тем как уйти, он добавил пять песо к растущей горке бумажек рядом с постелью.

— Присылай всех, кого увидишь, — наказал ему сеньор Эрберт, — посмотрим, справимся ли мы с этим до полудня.

Девушка приоткрыла дверь и попросила холодного пива. Там еще ждали несколько мужчин.

— Сколько еще? — спросила она.

— Шестьдесят три, — ответил сеньор Эрберт. Старый Хакоб весь день преследовал его со своей игровой доской. К вечеру его очередь подошла, он изложил свою проблему, и сеньор Эрберт принял его предложение. Они поставили два стула и столик прямо на большой стол, посреди заполненной людьми улицы, и старый Хакоб начал партию. Это был последний ход, который он мог заранее обдумать. Он проиграл.

— Сорок песо, — сказал сеньор Эрберт, — и я даю вам преимущество в две шашки.

Он снова выиграл. Руки его едва прикасались к фигурам. Он целиком уходил в игру, предугадывая позицию противника, и всегда выигрывал. Собравшиеся устали на них смотреть. Когда старый Хакоб решил сдаться, он был должен пять тысяч семьсот сорок два песо и двадцать три сентаво.

Он не пал духом. Записал цифру на бумажке и спрятал ее в карман. Потом сложил игральную доску, положил шашки в коробку и завернул все в газету.

— Делайте со мной что хотите, — сказал он, — но это оставьте мне. Обещаю вам играть весь остаток моей жизни, чтобы набрать эти деньги.

Сеньор Эрберт посмотрел на часы.

— От души сочувствую, — сказал он. — Срок истекает через двадцать минут. — Он подождал и убедился, что противник ничего не придумал. — Больше у вас ничего нет?

— Честь.

— Я хочу сказать, — объяснил сеньор Эрберт, — чего-то, что меняет цвет, если сверху пройти кистью, вымазанной краской.

— Дом, — сказал старый Хакоб так, будто отгадал загадку. — Он, правда, ничего не стоит, но это все-таки дом.

Так и получилось, что сеньор Эрберт получил дом старого Хакоба. Он получил также дома и имущество всех тех, кто не смог выполнить условия, но зато устроил целую неделю музыки, фейерверков, циркачей-канатоходцев и сам руководил праздником.

Это была памятная неделя. Сеньор Эрберт говорил о чудесной судьбе поселка, нарисовал даже город будущего с огромными стеклянными зданиями, на плоских крышах которых будут танцевальные площадки. Он показал его собравшимся. Они удивлялись, пытаясь найти себя в ярко раскрашенных сеньором Эрбертом прохожих, но те были так хорошо одеты, что узнать их было невозможно. От такой нагрузки у них заболело сердце. Они смеялись над своими слезами, которые проливали в октябре, и жили в тумане надежды до того дня, когда сеньор Эрберт позвонил в колокольчик и объявил об окончании праздника. Только тогда он решил отдохнуть.

— Вы умрете от такой жизни, какую ведете сейчас, — сказал старый Хакоб.

— У меня столько денег, — сказал сеньор Эрберт, — что нет причин умирать.

Он повалился на постель. Он спал дни и ночи, храпя, как лев, и прошло столько дней, что люди устали ждать. Им пришлось откапывать крабов и есть их. Новые пластинки Катарина стали такими старыми, что никто не мог слушать их без слез, — пришлось закрыть лавку.

Много времени спустя, как заснул сеньор Эрберт, в дом старого Хакоба постучался священник. Дверь была заперта изнутри. Спящий при дыхании тратил так много воздуха, что некоторые предметы, став легче, начали парить над землей.

— Я хочу с ним поговорить, — сказал священник.

— Надо подождать, — сказал старый Хакоб.

— У меня нет столько времени.

— Садитесь, святой отец, и ждите, — повторил старый Хакоб. — А пока сделайте одолжение — поговорите со мной. Я уже давно ничего не знаю о мире.

— Люди разбегаются. Очень скоро поселок станет таким же, как раньше. Вот и все новости.

— Вернутся, — сказал старый Хакоб, — когда море вернет запах роз.

— Пока что надо как-то сохранить иллюзии у тех, у кого они еще остались, — сказал священник. — Надо как можно скорее начать строительство церкви.

— Поэтому вы и пришли к мистеру Эрберту, — сказал старый Хакоб.

— Именно так, — сказал священник. — Гринго очень добры.

— Тогда ждите, святой отец, — сказал старый Хакоб. — Может, все-таки проснется.

Они стали играть в шашки. Это была долгая и трудная партия, они играли много дней, но сеньор Эрберт не проснулся.

Святой отец в конце концов пришел в отчаяние. Он везде бродил с медной тарелочкой для сбора пожертвований на строительство церкви, но того, что он раздобыл, было очень мало. От всех этих умоляний и упрасиваний он делался все более прозрачным, кости его начали стучать друг о друга, и однажды в воскресенье он приподнялся над землей на две кварталы, но об этом никто не узнал. Тогда он сложил одежду в чемодан, в другой — собранные деньги и распрощался навсегда.

— Запах не вернется, — сказал он тем, кто пытался его отговорить. — Нельзя закрывать глаза на очевидное — поселок погряз в смертном грехе.

Когда сеньор Эрберт проснулся, поселок был таким же, как раньше. Дождь месил грязь, изгнавшую людей с улиц, земля снова стала бесплодной и черствой, будто из кирпича.

— Долго же я спал, — зевнул сеньор Эрберт.

— Вечность, — сказал старый Хакоб.

— Я умираю от голода.

— Все остальные тоже, — сказал старый Хакоб. — Только и осталось — идти на берег и выкапывать крабов.

Тобиас нашел сеньора Эрберта ползающим по песку с пеной на губах и удивился, как голодные богачи похожи на бедняков. Сеньор Эрберт не мог найти подходящих крабов. Под вечер он предложил Тобиасу поискать что-нибудь поесть на дне моря.

— Что вы, — попытался предостеречь его Тобиас, — только мертвые знают, что там внизу.

— Ученые тоже знают, — сказал сеньор Эрберт. — Там, где кончается море кораблекрушений, внизу, под ним живут черепахи с очень вкусным мясом. Раздевайся и пойдем.

И они пошли. Отплыли от берега, потом ушли в глубину, все дальше и дальше, где сначала исчез свет солнца, потом моря и все светилось только своим собственным светом. Они проплыли мимо затонувшего поселка, где мужчины и женщины верхом на лошадях кружились вокруг музыкального киоска. День был прекрасный, и на террасах цвели яркие цветы.

— Он опустился на дно в воскресенье, около одиннадцати утра, — сказал сеньор Эрберт. — Должно быть, был потоп.

Тобиас поплыл к поселку, но сеньор Эрберт знаком показал ему следовать за ним в глубину.

— Там розы, — сказал Тобиас. — Я хочу, чтобы Клотильда увидела их.

— В другой раз вернешься со спокойной душой, — сказал сеньор Эрберт. — А сейчас я умираю от голода.

Он опускался как осьминог, таинственно шевеля длинными руками. Тобиас, изо всех сил старавшийся не терять его из виду, подумал: должно быть, так плавают все богатые. Постепенно они прошли море многолюдных катастроф и вошли в море мертвых.

Их было так много, что Тобиас подумал — он никогда не видел сразу столько живых людей. Они плыли не шевелясь, лицом кверху, один над другим, и вид у них был какой-то забытый.

— Это очень древние мертвецы, — сказал сеньор Эрберт. — Нужны века, чтобы достичь такого успокоения.

Пониже, там, где были недавно умершие, сеньор Эрберт остановился. Тобиас догнал его в тот момент, когда мимо них проплывала очень юная женщина. Она лежала на боку, глаза у нее были открыты, и за ней струился поток цветов.

Сеньор Эрберт приложил палец ко рту и так и застыл, пока не прошли последние цветы.

— Это самая красивая женщина, которую я видел в своей жизни, — сказал он.

— Это жена старого Хакоба, — сказал Тобиас. — Здесь она лет на пятьдесят моложе, но это она. Уверен.

— Много она обошла, — сказал сеньор Эрберт. — За ней тянется флора всех морей мира.

Они достигли дна. Сеньор Эрберт несколько раз повернул, идя по дну, похожему на рифленный шифер. Тобиас шел за ним. Только когда глаза привыкли к полумраку глубины, он увидел, что там были черепахи. Тысячи — распластанных на дне и таких же неподвижных, что они казались окаменелыми.

— Они живые, — сказал сеньор Эрберт, — но они спят уже миллионы лет.

Он перевернул одну. Тихонько подтолкнул ее кверху, и спящее животное, скользя из рук, стало подниматься по неровной линии. Тобиас дал ей уплыть. Он только посмотрел туда, где была поверхность, и увидел всю толщу моря, но с другой стороны.

— Похоже на сон, — сказал он.

— Для твоего же собственного блага, — сказал сеньор Эрберт, — никому об этом не рассказывай. Представь себе, что за беспорядок люди учинят в мире, если узнают об этом.

Была почти полночь, когда они вернулись в поселок. Разбудили Клотильду, чтобы она вскипятила воду. Сеньор Эрберт свернул черепахе голову, но когда ее разделявали, всем троим пришлось догнать и отдельно убить сердце, потому что оно выскочило и запрыгало по двору. Наелись так, что не могли вздохнуть.

— Что ж, Тобиас, — сказал сеньор Эрберт, — обратимся к реальности.

— Согласен.

— А реальность такова, — продолжал сеньор Эрберт, — что этот запах никогда больше не вернется.

— Вернется.

— Нет, не вернется, — вмешалась Клотильда, — как и все другое, потому что его никогда и не было. Это ты всех взбаламутил.

— Но ведь ты сама его слышала, — сказал Тобиас.

— Я в ту ночь была как оглушенная, — сказала Клотильда. — А сейчас я ничему не верю, что бы там ни происходило с этим морем.

— Так что я ухожу, — сказал сеньор Эрберт. И добавил, обращаясь к обоим: — Вам тоже нужно

уходить. На свете слишком много дел, чтобы сидеть в этом поселке и голодать.

Он ушел. Тобиас остался во дворе считать звезды и обнаружил, что их стало на три больше, чем в прошлом декабре. Клотильда позвала его в комнату, но он не обратил на нее внимания.

— Да иди же сюда, чудовище,— все звала его Клотильда.— Уже целую вечность мы ничего такого не делали.

Тобиас ждал еще долго. Когда наконец вошел, она, отвернувшись, спала. Он разбудил ее, но был таким усталым, что оба как-то все скомкали и напоследок только и могли сплетаться, как два червя.

— Ты совсем отупел, — сказала Клотильда недовольно. — Попытайся подумать о чем-нибудь другом.

— А я и думаю о другом.

Ей захотелось знать, о чем, и он решил рассказать ей при условии, что она никому не скажет. Клотильда обещала.

— На дне моря, — сказал Тобиас, — есть поселок из белых домиков с миллионами цветов на террасах.

Клотильда обхватила голову руками.

— Ах, Тобиас, — запрочитала она. — Ах, Тобиас, ради всего святого, не начинай ты снова все это.

Тобиас умолк. Он подвинулся на край постели и попытался уснуть. Ему не удавалось это до самого рассвета, пока не подул бриз и крабы не оставили его в покое.

СОДЕРЖАНИЕ*

ПОЛКОВНИКУ НИКТО НЕ ПИШЕТ (повесть)5

РАССКАЗЫ

ТРЕТЬЕ СМирЕНИЕ	64
ЕВА ВНУТРИ СВОЕЙ КОШКИ	73
ДРУГАЯ СТОРОНА СМЕРТИ	84
ДиАЛОГ С ЗЕРКАЛОМ	93
ОГОРЧЕНИЕ ДЛЯ ТРОИХ СОМНАМБУЛ.....	100
НОЧЬ, КОГДА ХОЗЯЙНИЧАЛИ ВЫПИ.....	104
ДЕНЬ ПОСЛЕ СУББОТЫ.....	109
СТАРЫЙ-ПРЕСТАРЫЙ СЕНЬОР	
С ПРЕОГРОМНЫМИ КРЫЛЬЯМИ.....	133
МОРЕ ИСЧЕЗАЮЩИХ ВРЕМЕН	141

* Переводы, вошедшие в настоящее издание, выполнены А. К. Борисовой.

Литературно-художественное издание

Габриэль Гарсиа Маркес

Полковнику никто не пишет

Выпускающий редактор

Р. Грищенко

Художник **И. Мосин**

Корректор: **И. Чернова**

Компьютерный макет и дизайн:

М. Лебедева, В. Пищалев

Компьютерный дизайн обложки **А. Ю. Котовой**

Макет обложки подготовлен в ООО «Издательство

„Терция“»

198013, Санкт-Петербург, ул. Можайская, д. 18, кв. 2

e-mail: tercia@mail.wplus.net

Подписано в печать 25.01.02. Формат 84×90¹/₃₂.

Печать высокая. Гарнитура тип «Таймс».

Усл. печ. л. 7,0. Тираж 5000 экз.

Заказ № 2574.

ООО «Издательский Дом „Кристалл“»

199004, Санкт-Петербург, Биржевой пер., д. 1/10, кв. 1

e-mail: books@kristall.sp.ru

Тел. в Санкт-Петербурге (812) 327-46-72 (факс)

Тел. в Москве (095) 219-71-49, 219-18-04

ИД № 01336 от 24.03.00.

Гигиенический сертификат

№ 78.01.07.952.Т.14898.05.99 от 24.05.99.

Отпечатано с диапозитивов в ФГУП «Печатный двор»

Министерства РФ по делам печати,

телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15.

ISBN

-6

9 785306 002538

Ангел был единственным, не принимавшим участия в событиях, коих был причиной. Он то и дело переходил с места на место в своем временном гнезде, потому что у него кружилась голова от адской жары, распространяемой масляными лампами и жертвенными свечами, придвинутыми к проволочной сетке. Сначала его пытались кормить кристаллами камфары, которые, как утверждала мудрая соседка, были специальной пищей ангелов. Но он отказался и от них, и, даже не попробовав, от картошки, которую приносили ему исповедующиеся, и кончил тем, что стал есть только кашу из баклажанов — не то по старости, не то потому, что она-то и была пищей ангелов.



Габриэль Гарсиа Маркес
«Старый-престарый сеньор
с преогромными крыльями»